В. Г. Белинский

Сто русских литераторов. Том второй

FB2: “Chernov2 ” <chernov@orel.ru >, 04 January 2012, version 1.0
UUID: 57c7b427-3635-11e1-aac2-5924aae99221
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Виссарион Григорьевич Белинский

Сто русских литераторов. Том второй

Тезис «у нас нет литературы», с которым В.Г. Белинский выступил еще в «Литературных мечтаниях» и который был подробно развит в статье «Русская литература в 1840 году», обосновывается в данной статье на материале второго тома альманаха А. Ф. Смирдина. Резкий отзыв о рецензируемом издании – оно, пишет Белинский, убеждает лишь «в существовании... русских типографий» – связан со стремлением расчистить литературную почву от псевдохудожественных наслоений.

Содержание

#1 0005
Примечания 0085

Виссарион Григорьевич Белинский
Сто русских литераторов. Том второй

Издание книгопродавца А. Смирдина. Том второй. Булгарин. Вельтман. Веревкин. Загоскин. Каменский. Крылов. Масальский. Надеждин. Панаев. Шишков. Санкт-Петербург. 1841.

Наконец, после долгих ожиданий, из темной и таинственной области великих замыслов и предприятий появился на свет божий второй том «Ста русских литераторов»!.. {1} Важное и торжественное событие для русской литературы!.. Среди микроскопических явлений книжного мира в настоящее время, когда романы, вместо прежних заветных четырех частей, обыкновенно являются в двух тоненьких книжечках, разгонисто напечатанных, или, отчаявшись найти себе читателей, растягиваются на страницах пяти-шести книжек иного объемистого журнала, – теперь книга «Сто русских литераторов» – это настоящий слон, тяжело и величаво шагающий между кротами и кузнечиками в пустыне русской литературы, поросшей глухою травою. Второй том «Ста русских литераторов» – явление великое по толщине и не менее великое по своему значению: оно отмечено перстом судьбы и предназначено к решению великой задачи. Это особенно доказывается его несвоевременным, столь поздним появлением в свет. Явись он в свое время, когда был обещан публике издателем, то есть с неболь-

шим год назад, – и его значение, его смысл навсегда были бы утрачены для публики: публика, после нескольких неудачных попыток дочесть – не говорим, эту толстую книгу, но хоть что-нибудь в ней, – выронила бы ее из рук. Но теперь другое дело: теперь эта книга явилась в самую пору, чтоб окончательно решить самый современный, самый свежий вопрос – вопрос о существовании русской литературы… Для тех, кому слова наши показались бы загадочными, мы должны заметить мимоходом, что в последнее время снова возникли сомнения в существовании русской литературы{2}. Скептицизм так далеко зашел, что некоторые дерзкие умы признают истинными и великими талантами только Пушкина да еще трех-четырех человек, из которых один явился задолго до Пушкина, другой при начале, третий при конце, а четвертый после его жизни;{3} всё же прочее считают более или менее удачными стремлениями и порываниями к поэзии, – но по большей части пустоцветами словесного мира. Но и подобное мнение, как ни отважно оно, куда бы еще ни шло; хуже всего то, что и на таланты,

которые они сами признают за истинные и великие, эти раскольники смотрят как на явления общечеловеческие... Хоть мы с ними и нисколько не согласны, но, признаемся, их возражения не раз приводили нас в смущение и заставляли задумываться. «Посмотрите, – говорили они нам, – посмотрите на эти петербургские сады и острова – ведь это деревья, и еще с листьями, а это розы, и еще в полном цвету, а все-таки они отнюдь не доказывают, чтоб теперь в Петербурге была весна или лето». Так как, читатели, мы решительно не верим существованию не только весны или лета, но даже и зимы в Петербурге, но круглый год видим в нем одну продолжительную, мрачную, холодную, сырую, грязную и нездоровую осень, – то это доказательство скептиков, против воли нашей, имело для нас свою сторону очевидности. В самом деле, если деревья, без весны и лета, но в осеннюю слякоть могут одеваться зеленью, а розы распускаться пышным цветом, – то почему же иному языку не гордиться несколькими великими созданиями поэзии, в то же время совсем не имея литературы?.. Конечно,

сравнение не всегда доказательство, и все это, может быть, только парадокс, но парадокс, надо сознаться, очень ловкий, так что его легко принять и за истину. Но теперь вопрос этот решается просто и удовлетворительно: второй том «Ста русских литераторов» неоспоримо убедит всякого в существовании... русских типографий... русской литературы, хотели мы сказать...{4}

В самом деле, подумайте о деле посерьезнее, поосновательнее, и ваш скептицизм исчезнет перед толстою книжищею «Ста», как исчезает туман перед восходом солнечным. *Сто литераторов*, сто современных, живых еще (т. е. здравствующих) литераторов, – шутка ли это!.. Двадцать из них уже предстали пред российскую публику{5}, каждый с повестью или каким-нибудь рассказом, а при них с картинкою, портретом собственной особы и еще с факсимилем, – так что, по остроумному выражению одного из двадцати, публика может видеть и голову «сочинителя», и то, что есть лучшего в ней, то есть «мозги», как остроумно выражается тот же «один из двадцати»{6}. Говорят, что по почерку можно заклю-

чать о характере человека: следовательно, в отношении к писателям, публика и с этой стороны удовлетворена толстым альманахом г. Смирдина: по собственноручной подписи своих знаменитых имен гг. Зотовым, Масальским и Веревкиным она может судить и о личных характерах сих знатных «сочинителей». Итак, посмотрите, какая богатая литература: вот уже ничего не видя – двадцать литераторов услаждают наш вкус и зрение своими произведениями и своими портретами, и мы готовимся увидеться еще с целыми восемьюдесятью персонами в этом роде.

Правда, из двадцати, представленных публике добродушным усердием г. Смирдина, шестерых уже нет на свете{7}, а несколько из умерших и из живых совершенно неизвестны публике своими литературными заслугами; но что до первых, они умерли недавно, и из них только Пушкин не дождался радости увидеть себя рядышком с Рафаилом Михайловичем Зотовым; а что до вторых, – если они не написали до сих пор ничего порядочного и заслуживающего хоть какого-нибудь внимания со стороны публики к их портретам и

факсимилям, то они еще напишут; следовательно, это не важное обстоятельство. Разумеется, те из них, которые умерли, не успевши написать ничего такого, что могло бы дать им право на звание литераторов и сделать интересными их портреты, как, например, г. Веревкин, – уже ничего и не напишут; но в этом виноваты не они, а ранняя смерть их, не давшая времени развернуться их талантам, которых существование, вероятно, не без основания предполагалось г. Смирдиным – сим тонким знатоком и ценителем талантов. Итак, двадцать уже представлены, и восемьдесят литераторов в непродолжительном времени имеют быть представлены российской публике – самой добрейшей, самой расположенной ко всему печатному (особенно с картинками) из всех бывших, сущих и будущих публик. И это всё живых, с немногим только числом, и то недавно, так сказать, на днях умерших литераторов; но тут нет и не будет ни Ломоносова, ни Сумарокова, ни Державина, ни Хераскова, ни Петрова, ни даже Батюшкова, Грибоедова, Веневитинова и других, умерших ранее 1837 года. И потому, не считая их – целых

сто литераторов, наших современников, литераторов настоящего времени, настоящего мгновения: какое богатство, какое обилие! Да это хоть бы Англии, хоть бы Франции, хоть бы Германии!.. «Да откуда же их набралось столько, откуда возьмут других?» – восклицает пораженная недоумением и радостью публика. Как откуда? – Вольно ж вам не знать русской литературы, не следить за ее ходом, развитием, успехами, не затвердить имен ее неутомимых деятелей, ее благородных представителей... «Но, – говорите вы, – Пушкин уже был, Крылов тоже явился; следовательно, остаются только Жуковский, Одоевский, Лажечников, Гоголь, Лермонтов, да разве еще двое-трое – и все тут». Во-первых, из всех этих, может быть, вы ни одного и не увидите: мы не утверждаем этого наверное, но предполагаем не без основания; а во-вторых, эти все отнюдь не все, и, кроме их, можно легко набрать не только сто, но, с маленькою натяжкою, и целых двести. Вот несколько знаменитых имен на выдержку, для примера: г. Воскресенский, автор многих превосходных романов, московский Зотов; г. Славин, что

прежде был г. Протопопов и г. Пртрпрпппрр-рв – московский Тальма, Кин, актер и сочинитель; г. Межевич, наш русский Жюль Жанен, он же и г. Л. Л.; гг. Ленский и Коровкин – достойные соперники Скриба; г. Марков, удачный подражатель самой занимательной части романов Поль де Кока, – сочинитель, талант которого до того преисполнен комического элемента, что сумел до слез насмешить публику даже Александром Македонским{8} – предметом нисколько не смешным; г. Губер (по словам знаменитой афиши, изданной покойным Воейковым){9}, не побоявшийся «побороться с великаном германской литературы и победивший его на смерть, так что «Фауста» можно считать на Руси решительно умершим; барон Розен, создавший русскую национальную драму;{10} г. Тимофеев, наследник таланта и славы Пушкина, как очень остроумно было объявлено в журнале, обильно наполнявшемся «мистериями» г. Тимофеева;{11} князь Мышицкий, автор волканического и вместе водяного, то есть морского романа «Сицкий»;{12} г. Олин – отставной романтик, некогда известный журналист, газет-

чик, элегист, романист, драматург и пр. и пр.; г. Ободовский, известный переводчик и сочинитель разных лирических и драматических, больших и малых пьес – талант первостепенный и оригинальный; г. Сигов, некогда славный изданием альманахов, наполненных собственными его сочинениями, но теперь, к немалому огорчению российских муз, что-то замолчавший; г. Менцов, поэт даровитый и критик основательно тонкий; господа Степанов, Траум, Пожарский, Алексеев, Щеткин, Сушков, Кропоткин – поэты лирические, элегические, и все до одного – романтики; г. Федот Кузмичев, известный и знаменитый «автор природы», как он сам называет себя;{13} г. Навроцкий, известный соперник Фонвизина и кандидат в гении, как он сам провозгласил себя{14}; г. Бахтурин, известный лирик и драматург, второй в России после г. Полевого; г. Струйский, он же и Трилунный, прославивший себя пьесами в восточном духе, каковы: «Смертаил», «Одинил», «Стихоплетоил» и другие «илы»;{15} г. Б. Ф(Ѳ)едоров, автор разных азбук и нравоучительных книжек для детей, поэт с сильным воображением, хотя и с полу-

богатыми виршами, прозаик образцовый, хотя и не совсем твердый в синтаксисе и орфографии;{16} ну и прочие, и прочие, и прочие – всех не перечтешь и на десяти страницах. А сколько издателей таких изданий, которые хотя только и наполняются, что моральными статьями и бранью против *толстых* журналов, в чаянии вызвать их на неприличный бой с собою и тем обратить на себя внимание публики, но которых тем не менее всё-таки никто не знает и не читает! Сколько сотрудников в этих неизвестных Изданиях и полуизданиях, которые с большим талантом и красноречием пишут об упадке общественной нравственности и вкуса публики, основывая свое мнение на том, что общество и публика не хочет читать их нравственных сочинений, восхищаясь безнравственным Пушкиным и безнравственным Лермонтовым! {17} Нет, только стало бы охоты у г. Смирдина продолжать свое полезное предприятие, а у публики – читать его издание{18}, – а то наберется и тысяча русских литераторов, явятся имена никогда не слыханные и, кроме своих владельцев, никому не известные. Итак, не

бойтесь, чтобы дело кончилось только гг. Зотовым, Масальским, Веревкиным: много найдется на святой Руси подобных им талантов. И потому будем надеяться на Аполлона – да исполнит он ожидания наши; а чтобы он не томил нас долгим ожиданием, воспоем ему громкий пеан да уж заодно – попросим его, чтобы в третьем томе «Ста русских литераторов» не увидеть Жуковского среди исчисленных нами знаменитостей, как увидели мы Пушкина между гг. Зотовым и другими, и Крылова между гг. Масальским, Каменским, Веревкиным и пр.

В ожидании же следующих томов «Ста русских литераторов», рассмотрим второй. Одиннадцать произведений десяти авторов, с десятью портретами и факсимилями и десятью картинками; книга в большую осьмушку, почти в семьсот страниц; и после этого будто еще могут оставаться сомнения не только в существовании русской литературы, но и в ее неисчерпаемом обилии, богатстве и роскоши. Не может быть!.. Для большего удостоверения, советуем нашим читателям не забывать, что альманахи – роскошь литературы, плод

ее избытков, которых так много, что их некуда и девать, кроме альманахов; что, следовательно, альманахи собираются легко, свободно, без натяжек и усилий и что, наконец, они свидетельствуют о необычайном количестве и качестве капитальных и больших произведений искусства и беллетристики, о необычайном числе и достоинстве журналов всех родов... Итак, честь и слава русской литературе, достойным представителем которой так кстати явился альманах г. Смирдина!.. Взглянем же попристальнее на эту драгоценную книгу... Она начинается статьею покойного А. С. Шишкова «Воспоминания о моем приятеле», которая есть нечто вроде анекдотов, так бедных содержанием и так неловко рассказанных, что решительно нет никакой возможности понять, в чем тут дело и о чем речь {19}. По всему заметно, что эта статья писана в глубокой старости, перед самою смертью, и притом по внешнему, а не по внутреннему побуждению. Причина последнего обстоятельства очевидна: издатель допускает в свой альманах только повести и рассказы, и потому, если бы туда хотел попасть литератор, век

свой писавший об истории, математике или корнесловии, то непременно должен был бы что-нибудь рассказать – хоть свой сон, хотя бы в этом сне не было никакого значения. К статье г. Шишкова приложена картинка, сделанная Брюлловым, – единственная превосходная картинка во всем альманахе. Что до самой статьи, о ней можно сказать только то, что и в ней автор остался верен себе и употребил только одно иностранное слово, и то в скобках, именно «попугай», которого он по-русски нарек «переклиткою»{20}. Удивительное постоянство! Весь мир переменился с тех пор, как А. С. Шишков издал свое знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка»; сам российский язык, прошед сквозь горнило талантов Карамзина, Крылова, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Грибоедова и других, стал совсем иной, а г. Шишков остался один и тот же, как египетская пирамида, безмолвный и бездушный свидетель тысячелетий, пролетевших мимо него... Имя Шишкова имеет полное право на свое, хотя небольшое, местечко в истории русской литературы, если только действительно существу-

ет на свете вещь, называемая русскою литературою. Было время, когда весь пишущий и читающий люд на Руси разделялся на две партии – шишковистов и карамзинистов, так как впоследствии он разделился на классиков и романтиков{21}. Борьба была отчаянная: дрались не на живот, а на смерть. Разумеется, та и другая сторона была и права и виновата вместе; но охранительная котерия довела свою односторонность до nec plus ultra[1], а свое одушевление – до неистового фанатизма, – и проиграла дело. И не мудрено: она опиралась на мертвую ученость, не оживленную идеею, на предания старины и на авторитеты писателей без вкуса и таланта, но зато старинных и заплесневелых, тогда как на стороне партии движения был дух времени, жизненное развитие и таланты. Шишков боролся с Карамзиным: борьба неравная! Карамзина с жадностию читало в России всё, что только занималось чтением; Шишкова читали одни старики. Карамзин ссылался на авторитеты французской литературы; Шишков ссылался на авторитеты – даже не Державина, не Фонвизина, не Крылова, не Озерова,

а Симеона Полоцкого, Кантемира, Поповского, Сумарокова, Ломоносова, Крашенинникова, Козицкого, Хераскова и т. д. На стороне Шишкова, из пишущих, не было почти никого; на стороне Карамзина было всё молодое и пишущее, и, между многими, Макаров, человек умный, образованный, хороший переводчик, хороший прозаик, ловкий журналист {22}. Правда, котерия движения доходила до крайности, вводя в русский язык новые, большею частию иностранные слова и иностранные обороты; но какой же поворот совершался без крайностей, и не смешно ли не начинать благого дела, боясь испортить его? Почто же были бы и врачи, если бы они не лечили больных, боясь сделать им лекарствами еще хуже? Подметить ошибку в деле еще не значит – доказать неправость самого дела. Работают люди, но совершает всё время. Конечно, теперь смешны слова: *виктория, сенсации, ондировать*{23} (волноваться) и тому подобные; смешно писать *аддиция* вместо *сложение, субстракция* вместо *вычитание, мултипликация* вместо *умножение, дивизия* вместо *деление*, но ведь эти слова начали употребляться вме-

сте с словами – *гений, энтузиазм, фанатизм, фантазия, поэзия, ода, лирика, эпопея, фигура, фраза, капитель, фронтон, линия, пункт, монотония, меланхолия*, и с бесчисленным множеством других иностранных слов, теперь получивших в русском языке полное право гражданства, и потому нимало не смешных, не странных, не непонятных. Люди без разбору вводили новые слова, а время решило – которым словам остаться в употреблении и укорениться в языке, и которым исчезнуть; нововводители же не знали и не могли знать этого. Шишков не понимал, что, кроме духа, постоянных правил, у языка есть еще и прихоти, которым смешно противиться; он не понимал, что употребление имеет права, совершенно равные с грамматикою, и нередко побеждает ее, вопреки всякой разумной очевидности. У нас есть слово *торговля*, вполне выражающее свою идею; но найдите хоть одного торговца, который бы не знал и не употреблял слова *коммерция*, хотя это слово во всей очевидности совершенно лишнее? Таким же точно образом можно найти много коренных русских слов, прекрасно выражающих свою

идею, но совершенно забытых и диких для употребления. Например, что может быть лучше слова *иже* – оно и коротко и выразительно; а между тем мы заменили его длинным и неуклюжим словом *который*. Почему так? – Нет ответа на этот вопрос! Почему можно сказать: *говоря речь, делая вещь*, а неловко сказать *вия шнурок, пия* или *пья воду, тяня веревку*? Первоначальная причина введения новых, взятых из своего или чужих языков слов есть всегда знакомство с новыми понятиями: а разумеется, что нет понятия – нет и слова для его выражения; явилось понятие – нужно и слово, в котором бы оно выразилось. Нам скажут, что явления идеи и слова единовременны, ибо ни слово без идеи, ни идея без слова родиться не могут. Оно так и бывает; но что же делать, если писатель познакомился с идеею чрез иностранное слово? – Приискать в своем языке или составить соответствующее слово? – Так многие и пытались делать, но немногие успевали в этом. Слово *круг* вошло и в геометрию как термин, но для *квадрата* не нашлось русского слова, ибо хотя каждый квадрат есть четвероугольник, но не всякий

четвероугольник есть квадрат; а заменить *хорду веревкою* никому, кажется, и в голову не входило. Слово *мокроступы* очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом *галоши*; но ведь не насильно же заставить целый народ вместо *галоши* говорить *мокроступы*, если он этого не хочет. Для русского мужика слово *кучер* – прерусское слово, а *возница*, такое же иностранное, как и *автомедон*. Для идеи *солдата, квартиры* и *квитанции* даже и у мужиков нет более понятных и более русских слов, как *солдат, квартира* и *квитанция*. Что с этим делать? Да и следует ли жалеть об этом? Какое бы ни было слово – свое или чужое – лишь бы выражало заключенную в нем мысль, – и если чужое лучше выражает ее, чем свое, – давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хламу. У нас не было поэзии, как не только непосредственно, но и в сознании народа существующего понятия, – и потому, когда это понятие должно было ввести в сознание народа, то должно было ввести в русский язык и греческое слово *поэзия*; но как живопись существовала у нас, ес-

ли не непосредственно, то в сознании народа, имевшего в ней нужду для изображения религиозных предметов, – то в наш язык и не вошло иностранного слова для этого искусства, но осталось свое, даже с некоторыми терминами, как-то: *черта, чертить, образ, изображение, кисть, краски, тени*{24} и пр. Хотя по-гречески *ода* значит и *песнь*, но тем не менее между *одою* и *песнию* есть разница, и потому слово *ода* необходимо должно было войти в наш язык.

Каждый народ, занимая страну, более или менее отличную от других и, следовательно, непохожую на другие, выражает своим существованием свою идею, которой не выражает уже никакой другой народ. Вследствие этого каждый народ делает свои, только ему принадлежащие завоевания и приобретения в области духа и знания и создает язык и терминологию для своих духовных стяжаний. Вот почему каждый народ, в смысле «нации» (ибо не всякий народ есть нация, но только тот, которого история есть развивающаяся идея), владеет известным количеством слов, терминов, даже оборотов, которых нет и не

может быть ни у какого другого народа. Но как все народы суть члены одного великого семейства – человечества и как, следовательно, все частное каждого народа есть общее человечества, то и необходим между народами размен понятий, а следовательно, и слов. Вот почему греческие слова: *поэзия, поэт, фантазия, эпос, лира, драма, трагедия, комедия, сатира, ода, элегия, метафора, троп, логика, риторика, идея, философия, история, геометрия, физика, математика, герой, аристократия, демократия, олигархия, анархия* и бесчисленное множество других слов вошли во все европейские языки; точно так же, как арабские – *алгебра, альманах*, и вообще восточные, означающие названия драгоценных камней; латинские: *республика, юриспруденция, штат* (status), *цивилизация, армия, корпус, легион, рота, император, диктатор, цензор, цензура, консул, префект, префектура*, и вообще все термины науки права и судопроизводства. Поэтому же самому и русское слово степь, означающее ровное, безводное и пустое пространство земли, вошло в европейские языки. Мысль Шишкова была та, что ес-

ли уж нельзя обойтись без нового слова (а он питал сильную антипатию к новым словам), то должно не брать его из чужого языка, но составить свое, сообразно с духом языка, или отыскать старинное, обветшавшее, близкое по значению к тому иностранному, в котором предстоит нужда. Мысль прекрасная, но решительно невыполнимая и потому никуда негодная! Правда, иные слова удобно переводятся или заменяются своими, как то было и у нас, но большею частию переведенные или составленные слова уступают место оригинальным, как *землемерие* уступило место *геометрии*, *любомудрие – философии*; или остаются вместе с оригинальными, как слова: *стихосложение* и *версификация*, *мореплавание* и *навигация*, *летосчисление* и *хронология*; или, удерживаясь вместе с оригинальными, заключают некоторый оттенок в выражении при одинаковом значении, как слова: *народность* и *национальность*, *личность* и *индивидуальность*, *природа* и *натура*[2], *нрав* и *характер*, и пр. Вообще идее как-то просторнее в том слове, в котором она родилась, в котором она сказалась в первый раз; она как-то

сливается и срастается с ним, и потому выразившее ее слово делается *слитным, сросшимся (конкретным*, говоря философским термином) и становится непереводимым. Переведите слово *катехизис – оглашением, монополию – единоторжием, фигуру – извитием, период – кругом, акцию – действием* – и выйдет нелепость. Кроме того, как мы уже и говорили, тут большую роль играет упрямство, капризы употребления. Выражение: *иметь на что или на кого-нибудь влияние* составлено явно против духа и всех правил языка; а между тем оно вполне выражает свою идею, и заменить его *наитием* – значило бы понятное для всех и каждого русского выражение заменить непонятным и бессмысленным.

Нельзя без улыбки сострадания, а иногда и просто без смеху читать нападки почтенного защитника старины на Карамзина. Долго было бы выписывать разбор Шишкова статьи Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?». Мысль Карамзина, что нам нужен язык, которым могло бы объясняться образованное общество и дамы, – эта мысль казалась для Шишкова чуть не богохульством.

Чтобы понять фанатизм староверчества и всю его нелепость и бесплодность, надобно видеть, как глумится наш рыцарь старопечатных книг над фразою Карамзина: «Когда путешествие сделалось потребностию души моей». Он находит ее противною духу языка, грамматике и логике и от чистого сердца утверждает, что ее можно заменить фразою: «Когда я любил путешествовать», думая, что она выражает точь-в-точь то же самое, только лучше и более по-русски. Удивительно ли после этого, что Шишков, при всех своих усилиях, не мог произвести никакой реакции реформе Карамзина и что все его усилия погибли втуне, не принесши плода? А между тем он мог бы оказать большую пользу русской стилистике и лексикографии, ибо нельзя не удивляться его начитанности в церковных книгах и знанию силы и значения коренных русских слов. Но для этого ему следовало бы, во-первых, ограничиться только стилистикою и словопроизводством, не пускаясь в толки о красноречии и поэзии, которых он решительно не понимал; а во-вторых, ему не следовало бы доводить свою любовь к старине и

ненависть к новизне до фанатизма, который был причиною, что его никто не слушал и не слушался, но все только смеялись даже и над теми его замечаниями, которые были и дельны. Поставь он себе целию не, остановить реформу, но дать ей прочные основания чрез знание духа и исторического развития славяно-церковного языка, ввести ее в должные пределы, – повторяемого труды не пропали бы вотще, но принесли бы большую пользу языку и молодым писателям его времени. Но он вышел из своей роли и часто бросал то оружие, которое в его руках могло быть и остро, и крепко, и брался за то, которым не дано ему было владеть. Главная его ошибка состояла в том, что он заботился о литературе вообще, тогда как ему должно было заботиться только о языке, как материале литературы. Он не понимал, что славянские и вообще старинные книги могут быть предметом изучения, но отнюдь не наслаждения, что ими могут заниматься только ученые люди, а не общество. Он думал, что дамы – не люди{25} и что для них не нужно своей литературы. Ломоносов был для него высший идеал поэта и

оратора, стихотворца и прозаика; Кантемир и Сумароков – истинные поэты. О последнем он так отзывался: «Хотя из многих мест можно бы было показать, что Сумароков не довольно упражнялся в чтении славянских книг и потому не мог быть силен в языке, однако ж он при всех своих недостатках есть *один из превосходнейших стихотворцев и трагиков, каковых и во Франции не много было*» (т. II, стр. 124){26}. В одном месте он утверждает, что, «дабы иметь право поправлять в языке Ломоносова, надлежит наперед сочинениями своими показать, что я столько же силен в нем, сколько и он был, иначе сбудется пословица: *яйцы курицу учат*» (т. II, стр. 377); а в другом месте находит трагедии Ломоносова высокопарными и отдает перед ними преимущество трагедиям Сумарокова. Это так забавно, что нельзя не выписать. Вот монолог какой-то татарской царевны из трагедии Ломоносова:

Настал ужасный день, и солнце на восходе,
Кровавы пропустив сквозь пар густой лучи,
Дает печальный знак к военной

непогоде;
Любезна тишина минула в сей ночи.
Отец мой воинства готовится к отпору
И на стенах стоять уже вчера велел.
Селим полки свои возвел на ближню гору,
Чтоб прямо устремить на город тучу стрел.
На гору, как орел, всходя он возносился,
Которой с высоты на агнца хочет пасть;
И быстрый конь под ним как бурный вихрь крутился:
Селимово казал проворство тем и власть.
И пр.*{27}*.

Шишков восклицает, выписав этот удивительный монолог: «Стихи сии гладки, чисты, громки; но свойственны ли они устам любовницы? Слыша ее звучащу таким величавым (именно!) слогом, не паче ли она воображается нам Гомером или Демосфеном, нежели младою, страстною царевною?»

Затем наш критик выписывает, для сравнения, монологи из Сумарокова. Мы ограничимся последним; Хорев глаголет своей полюбовнице Оснельде:

Когда я в бедственных лютейших дня часах
Кажуся тигром быть в возлюбленных очах,
Так ведай, что во град меня с кровава бою
Внесут и мертвого положат пред тобою:
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И разделю живот тебе (!) и долгу в дань{28}.

«Читая сии стихи (восклицает критик), сердце мое наполняется состраданием и жалостию к состоянию сего любовника. Я не научусь у него ни громкости слога, ни высокости мыслей, но научусь любить и чувствовать» (т. II, стр. 124–127).

Вот истинно тонкая критика!

Да, с таким взглядом на искусство и лите-

ратуру трудно, или, лучше сказать, бесплодно было противоборствовать реформе Карамзина: бой был слишком неравный! Очень забавно видеть, как наш критик восхищается плоскими и грубыми *эклогами* и *притчами* Сумарокова; как он приводит, в образец красоты, вирши Симеона Полоцкого. Чтобы показать, какова, по мнению Шишкова, должна быть изящная проза, выпишем несколько строк из его перевода «Освобожденного Иерусалима» Тасса:

> *«Там в несметном числе представляются взорам смердящие гарпии, и центавры, и сфинксы, и бледные горгоны; там тьмами уст лают прожорливые скилы, и свистят гидры, и шипят пифоны; там химеры, черный пламень рыгающие, и Полифемы, и Герионы ужасные, и новые, нигде не виданные и не слыханные чудовища, из разных видов во един смешанные и слиянные».*

И Шишков умер с мыслию, что славянский язык краше паче всех языков в мире; что иностранные слова сгубили красоту российского слога; что Сумароков был великий пиита и

что он, Шишков, был хранителем и стражем российского языка и словесности, хотя тот и другая шли своим путем, мимо своего хранителя и стража, даже и не зная о его существовании… Приятно умереть в такой сладостной уверенности!..

И между тем из 17 огромных томов сочинений Шишкова можно извлечь больше 17 страниц дельных и полезных мыслей о словопроизводстве, корнесловии, силе и значении многих слов в русском языке{29}. Это был бы огромный, тяжелый, но не бесполезный труд…

За статьею покойного Шишкова следует басня Крылова «Кукушка и Петух». Говорить о заслугах и значении Крылова в русской поэзии и литературе почитаем излишним, тем более что читателям «Отечественных записок» известно наше мнение о великом русском баснописце{30}. Что до новой басни, – вот она – пусть судят о ней сами читатели:

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!»
– А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:

Во всем лесу у нас такой певицы нет!
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».
– А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так – собою невелички,
А песни, что твой соловей!
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут воробей, случась, промолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,
Все ваша музыка плоха!»

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.

К басне Крылова приложена хорошенькая картинка г. Дезарно: на ней изображены три

человеческие фигуры в библиотеке, – одна с головою петуха, другая – кукушки, третья – воробья; две из них тоненькие и с очками на носу; а третья толстая в без очков, рот ее разинут по-петушьи, и, кажется, слышно, как дерет она свое петушье горло{31}.

За баснею Крылова следуют повести гг. Загоскина и Булгарина. Нам кажется, что не случай, а сама судьба поместила рядом повести этих знаменитых романистов, – и в этом распоряжении мы видим глубокое и таинственное значение. Постараемся раскрыть его.

Мы не без намерения распространились о литературном поприще покойного Шишкова: мы смотрим на книгу «Сто литераторов» как на вывеску русской литературы, заключающую в себе статьи и портреты *только* представителей русской литературы. Следовательно, цель и обязанность нашей статьи и есть – указать, почему г. Смирдин почитает того или другого писателя представителем русской литературы. Литературная сметливость и критический такт г. Смирдина так тонки и верны, что мы разбором их смело надеемся

сделать нашу статью занимательною. Посему бросим взгляд на литературное поприще гг. Загоскина и Булгарина.

Мы не без основания сказали, что гг. Загоскин и Булгарин явились рядышком не по произволу г. Смирдина, но по многознаменательному преднамерению судьбы; г. Смирдин явился здесь, впрочем совершенно бессознательно, истолкователем таинственной и непреложной воли судьбы. Объяснимся.

В литературной судьбе гг. Загоскина и Булгарина очень много общего. Просим не забывать, что мы это сходство видим только в литературном поприще обоих этих писателей, а не в чем-нибудь другом, и под литературою разумеем только книгу, а не то, *для чего* и *как* сочинена или пущена она в свет. Во всем нелитературном мы не видим ни малейшего сходства между г. Загоскиным и г. Булгариным, как между белым и черным, майским днем и октябрьскою ночью{32}. Но зато в направлении и деятельности их талантов какое сходство! Во-первых, литературное направление г. Загоскина чисто моральное и нравственно-сатирическое; г. Загоскин никогда не

забывал благородной обязанности писателя – забавлять поучая, поучать забавляя, наставлять осмеивая пороки и осмеивать пороки наставляя. Литературное поприще г. Булгарина тоже чисто исправительное, и эпитет «нравственно-сатирический»{33} столько же сросся с именем г. Булгарина, сколько «божественный» с именем Гомера, и титул «царя поэтов» с именем Шекспира. Правда, первые труды г. Загоскина были комедии, а не нравственно-сатирические статейки, как у г. Булгарина; но, во-первых, здесь разница только в форме, а не в деле, не в цели, не в таланте и не в достоинстве; а во-вторых, несколько нравоучительных статеек было напечатано и г. Загоскиным. Г-н Булгарин прославил *Архипа Фадеевича* и *Выжигина*; г. Загоскин прославил *Богатонова* и *Доброго малого*{34}. Не оставляя нравоописательных и нравственно-сатирических статеек, г. Булгарин принялся за роман и, после Нарежного, действительно первый написал русский, хотя по названию и по именам действующих лиц, роман. Не оставляя комедии, г. Загоскин написал первый русский исторический роман. «Иван Выжигин»

и «Юрий Милославский» возбудили в публике, как говорится, фурор и подняли своих авторов на вершину известности, славы и даже доставили им большие вещественные выгоды. Обстоятельство очень сходное! Приятели г. Булгарина превознесли его роман до седьмого неба; неприятели ставили его ниже известного романа «Похождения Совестдрала Большого Носа»; приятели г. Загоскина объявили его роман гениальным созданием; зато г. Булгарин в «Северной пчеле» поставил его ниже даже своих собственных романов{35}. Опять сходство! Разница состояла только в том, что при равном художественном достоинстве роман г. Булгарина отличался отсутствием вероятности, естественности, теплоты, был холодно-исправителен, ледяно-беспощаден к своим героям, которые все окончили свои похождения – кто в собачьей конуре, кто на виселице, кто в ссылке; роман же г. Загоскина, при отсутствии идеи, при поверхностности взгляда на жизнь, отличался какою-то задушевною теплотою, каким-то добродушием, которые сначала приняты были публикою за силу, глубокость и обширность талан-

та. Разница, очевидно, происходившая не от литературных причин, почему мы и оставляем ее без объяснения. Впрочем, и в «Юрии Милославском», лучшем своем произведении, г. Загоскин остался верен своему моральному направлению, почему теперь его с большою пользою могут читать дети. Кстати, опять разница: «Юрий Милославский» пережил «Ивана Выжигина» – он до сих пор еще годится хоть для детей и простого народа, тогда как «Выжигин» уже ни для кого не годится и не читается даже простым народом, хотя и дешево продается на Апраксином дворе вместе с «Россиею»{36} того же автора. «Дмитрий Самозванец» г. Булгарина был неудачною попыткою выйти из нравственно-сатирической и нравоописательной сферы: сначала роман возбудил, своим заглавием, внимание публики, но по прочтении был тотчас же забыт ею. Родился он довольно шумливо, благодаря журнальным приятелям и неприятелям г. Булгарина, но скончался вмале, – и жития его было без малого год. В сочинениях г. Загоскина не находим параллели с «Дмитрием Самозванцем» г. Булгарина; но прерванное

этим романом сходство тотчас же восстановляется «Рославлевым»{37}, который делает собою параллель «Петру Выжигину», ибо «Рославлев» точно так же относится к «Юрию Милославскому», как «Петр Выжигин» относится к «Ивану Выжигину»: «Петр Выжигин» есть повторение «Ивана Выжигина», «Рославлев» есть повторение «Юрия Милославского». О том и другом романе обоих романистов можно сказать: старые погудки на новый лад! Сходство между ними увеличивается и содержанием: великая война 12-го года с равным успехом представлена в карикатуре обоими сочинителями; в том и другом романе трудно решить, кто забавнее, смешнее и ничтожнее – герой или Наполеон. Но в судьбе романов есть разница: «Петр Выжигин» был уже третьим романом г. Булгарина, которого романическая слава была уже подорвана вторым его романом «Дмитрием Самозванцем», жестоко обманувшим блестящие надежды публики, а «Рославлев» был вторым романом, следовательно, «Дмитрием Самозванцем» г. Загоскина: подав великие надежды до своего появления, он уничтожил их своим появлением. От-

сюда сходство литературной участи обоих романистов несколько нарушается: г. Булгарин написал четвертый роман, – «Мазепу», который был слабее и ничтожнее первых трех; но в это время г. Булгарина поддержала «Библиотека для чтения»{38}, в свою очередь, обязанная своим успехом красноречивым объявлениям г. Булгарина в «Северной пчеле». Статья «Библиотеки для чтения» была ловка: с ожесточением нападая на неистовство юной французской литературы, рецензент делает намеки, что и «Мазепа» г. Булгарина очень не чужд этого недостатка, для чего и выписывает из него описание пытки. Цель приятельской статейки была вполне достигнута: если роман никем не был похвален, зато многими был куплен, – а это главное. Г-н Загоскин издал третий свой роман «Аскольдову могилу», которого даже и приятели автора не хвалили, и враги не бранили, и публика не читала. В это время обоим романистам явился опасный соперник – г. Греч, которого «Черная женщина», благодаря еще более ловкой статье{39} «Библиотеки для чтения», *пошла шибко*, как выражаются наши книгопродавцы. Сверх то-

го, романическая слава г. Булгарина еще прежде была сильно поколеблена более опасным, чем г. Греч, соперником: мы разумеем покойного А. А. Орлова, до бесконечности размножившего поколение Выжигиных{40}. Г-н Булгарин уже сознавал свое падение, – и «Записки Чухина»{41} были его последнею попыткою на роман; они тихо и незаметно прошли на Апраксин двор и в мешки букинистов – иначе ходебщиков или *ворягов*. Тогда г. Булгарин, подобно Вальтеру Скотту, принялся за историю. Всем известен блестящий успех его «России»; если же кто бы не знал о нем, тому советуем справиться на Щукином дворе. Но истинный гений всегда найдется; обманываясь большую половину жизни в своем призвании, он сознает его хоть в старости: г. Булгарин теперь понял, что наш век не поэтический и не романический, а гастрономический, и что он, г. Булгарин, не поэт, не романист и не историк даже, а эконом{42}, понял, и принялся за издание поваренного журнала, который «пошел шибко», по крайней мере шибче всех наших моральных журналов, начиная от того, который утверждает, что же-

лезные дороги ведут прямо в ад, до того, который провозгласил Пушкина и Лермонтова искусителями и врагами человеческого рода, а г. Навроцкого великим сочинителем{43}. Г-н Загоскин остался верен своему романическому призванию и только раз изменил ему, написав комедию «Недовольные»{44}, в которой с большим успехом изобразил нравы русского общества времен *Богатоновых* и *Добрых малых* и в которой очень зло осмеял глупое обыкновение пользоваться водами, заставив героиню комедии сказать о водопийцах: «Ну, батюшки, пошли на водопой!» Комедия имела блестящий успех, хотя дана всего два раза: сперва в бенефис артиста, а потом для повторения. Потом (или, может быть, немного и прежде) г. Загоскин переделал свой неудавшийся роман «Аскольдову могилу» в либретто, на которое г. Верстовский написал оперу, особенно любимую московским простонародьем. Затем последовали два романа, «Искуситель» и «Тоска по родине», из которых последний г. Загоскин опять переделал в либретто, на которое г. Верстовский написал оперу, не понравившуюся ни порядочному обще-

ству в Москве, ни простонародью, хотя герой оперы ему и свой брат и откалывает такие штуки, что уморушка да и только. О самых романах мы не говорим: de mortuis aut bene aut nihil[3]. Что же касается до верности параллели, которую проводим мы между обоими романистами со стороны литературной участи, – она очевидна: «Искуситель» и «Тоска по родине» были для г. Загоскина «Записками Чухина», то есть девятым валом для его славы романиста. Но сходство и этим не оканчивается: г. Булгарин прежде сочинял свои романы все в четырех частях, а после «Петра Выжигина» стал сочинять уже только в двух частях, – и его двухчастные романы стали походить на повести, впрочем довольно плотно сбитые. Г-н Загоскин первый роман свой издал в трех частях, хотя и маленьких; второй составил в четырех побольше; третий – опять в трех, но уже больших частях, которые в чтении могут показаться за двенадцать; но после «Аскольдовой могилы» он стал сочинять романы уже только в двух частях, – и его двухчастные романы стали походить на повести, разгонисто, с большими пробелами напеча-

танные. И это было недаром: оба романиста, поддаваясь духу времени, очевидно начали сбиваться на повесть. И в самом деле, в журналах и альманахах начали появляться их повести, как-то: «Похождения квартального надзирателя», «Кузьма Рощин», «Три жениха» и пр. Наконец, оба они явились с повестями в толстом альманахе г. Смирдина, словно Ока и Кама, слившиеся в Волге. Но прежде, нежели будем говорить об этих двух повестях, мы должны докончить нашу параллель и вместе с тем, как требует добросовестность, показать и несходства, чтобы параллель не вышла натянутою. Говоря об «Иване Выжигине» и «Юрии Милославском», мы только слегка упомянули о похвалах и порицаниях, которыми был встречен тот и другой роман, а это неинтересная история, особенно в отношении к «Ивану Выжигину». Что касается до «Юрия Милославского», он был принят с общими и безусловными похвалами, которые были преувеличенны, но которых частию роман был и достоин, ибо в нем есть и оригинальность, и свежесть, и теплота, и даже некоторая степень таланта{45}. Брань встре-

тил «Юрий Милославский» только в «Северной пчеле»; но это потому, что в «Северной пчеле» постоянно преследовались все романы, не г. Булгариным и г. Гречем сочиненные {46}, исключение оставалось только за плохонькими «И неопасными для романической монополии и еще за «Фантастическими путешествиями» Барона Брамбеуса, который сам был акционером в монополии. Что же касается до «Выжигина», то едва ли какая книга удостоивалась таких похвал от «Северной пчелы» и таких нападок со стороны всех других изданий. Особенно примечательно то, что «Выжигина» с ожесточением преследовали и те издания и люди, которые потом с восторгом превозносили его, как-то: «Московский телеграф», по заключении мира с «Пчелою», перед выходом первого тома доселе еще неоконченной «Истории русского народа»{47}; г. Сомов, имевший странное обыкновение передаваться от одной партии к другой, и, наконец, в наши дни, один фельетонист, некто г. Л. Л., писавший против г. Булгарина в четырех изданиях – в «Телескопе», «Молве», «Галатее» и, еще недавно, в «Литературных прибав-

лениях к «Русскому инвалиду»«, а теперь прославляющий г. Булгарина, вделавшись фельетонистом «Пчелы»{48}. Но г. Булгарин, как истинный талант, имел и имеет таких врагов, которые неизменны от колыбели до гроба в своей к нему зависти. Вот как один из них характеризовал некогда его «Ивана Выжигина»:

> *Менее таланта, но более литературной опытности, язык более гладкий, хотя бесцветный и вялый, находим мы в «Выжигине», нравственно-сатирическом романе г-на Булгарина. Пустота, безвкусие, бездушность; нравственные сентенции, выбранные из детских прописей, неверность описаний, приторность шуток, вот качества сего сочинения, качества, которые составляют его достоинство, ибо они делают его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая от азбуки и катехизиса приступает к повестям и путешествиям. Что есть люди, которые читают «Выжигина» с удовольствием и, следовательно, с пользою, это доказывается тем, что «Выжигин» расходится. Но где же эти люди? – спросят меня. – Мы не видим их,*

точно так же, как и тех, которые наслаждаются «Сонником» и книгою «О клопах»; но они есть, ибо и «Сонник», и «Выжигин», и «О клопах» раскупаются во всех лавках («Денница», изд. М. Максимовичем, 1830 года, «Обозрение русской словесности 1829 года», стр. LXXIII–LXXIV){49}.

Мы, с своей стороны, не скажем, чтоб были совершенно согласны с таким жестоким приговором, явно внушенным завистию к великому таланту сочинителя «Выжигина». Правда, действующие лица в этом романе, если читатели не забыли, не суть живые образы или действительные характеры, но аллегорические олицетворения пороков, слабостей и мнимых добродетелей; моральные мысли довольно обыкновенны и походят на потертую ходячую монету, которой не принимают за настоящую цену или и вовсе не берут по сомнительности ее истертой ценности; но слог, хотя лишен движения, жизни и цвета, но гладок, грамматически правилен. Это – важное обстоятельство, потому что в те времена (увы! уже давно прошедшие), как и теперь,

русские писатели, даже пользовавшиеся известностию, не отличались в родном языке такою чистотою и правильностию, как г. Булгарин в языке чуждом ему. Сверх того, кому бы ни нравился тогда роман г. Булгарина, но он приучал к грамоте и возбуждал охоту к чтению в такой части общества, которая без него еще, может быть, долго бы пробавлялась «Милордом английским», «Похождениями Совестдрала Большого Носа», «Гуаком, или Непоколебимою верностию»{50} и тому подобными произведениями фризовой фантазии. Следовательно, заслуга «Ивана Выжигина» г. Булгарина несомненна,– и нам тем приятнее признать ее публично и печатно, что почтенный сей сочинитель не раз обвинял наш журнал в зависти к его таланту. Достоинство произведения г. Булгарина доказывается еще и его необыкновенным успехом, а всякий успех есть доказательство какого-нибудь, хотя бы и отрицательного, достоинства. Толпа увлекается или чем-нибудь истинно великим, что никогда не теряет своей цены, что неизмеримо выше ее, или чем-нибудь таким, что совершенно по плечу ей, что вполне

удовлетворяет ее незатейливые потребности. В первом случае она увлекается мнением людей, которые выше ее целою головою, которые, без ее, и даже без собственного, ведома и сознания, непосредственно управляют ею силою своего превосходства; так увлеклась она Пушкиным и с жадностию раскупала его создания. Во втором случае она руководствуется сама собою, ибо и она тоже претендует на самостоятельность и крепко отстаивает свои права от умных людей, невольно увлекаясь превосходством над нею удовлетворяющих ее вкусу и потребностям сочинителей. Тогда-то видим мы, как расходится тысячами иное довольно дюжинное произведение. Но есть разница в обоих этих случаях: успех первого рода бывает прочен и всегда продолжителен, если не всегда вечен; успех второго рода всегда бывает минутный, эфемерный и, начинаясь магазином Смирдина, оканчивается Апраксиным двором. Итак, «Иван Выжигин», получив успех, равный с «Юрием Милославским», – испытал несколько различную от последнего судьбу в отзывах журналистов; но конец их один и тот же: они мирно встретились и дру-

желюбно сошлись там, где книги оставляют свою аристократическую гордость и продаются и променяваются вместе с плебеями литературного мира. Sic transit gloria mundi!..[4] Пример грустно-поучительный!..

Но есть еще сходство между г. Булгариным и г. Загоскиным, как писателями. Оба они отличаются одним достохвальным направлением, оба имеют одну почтенную цель – исправлять пороки и недостатки общества сатирою и моралью. Каждое произведение этих авторов есть не что иное, как развитие какой-нибудь моральной сентенции – у г. Булгарина в форме юмористической статейки, повести и романа, у г. Загоскина – в форме комедии, диалога, повести и романа. Сверх того, оба они – равно пламенные патриоты, оба любят до безумия все русское. Но любовь их различна. У г. Булгарина она выражается преимущественно в уверениях в любви, в анафемах против равнодушных ко всему русскому, в громких, хотя и не всегда увлекательных провозглашениях о его драгом отечестве (то есть России). Притом г. Булгарин часто противоречит себе в своей любви ко всему русскому,

ибо зло критикует в своей литературе почти все русское: злодеев и чудаков представляет, чересчур увлекаясь чувством благородного негодования, – такими гнусными и так непохожими на действительно возможных, что читать нельзя, а добродетельных – такими холодными и бесцветными, так неправдоподобно, что их нисколько не любишь и существованию их нисколько не веришь. Г-н Загоскин, напротив, искреннее в своей любви ко всему русскому, которое он часто смешивает с простонародным. Злодеи г. Загоскина всегда неестественны и гадки по причине излишней густоты красок, происходящей от энергического негодования против всего злодейского; добродетельные и здравомыслящие его – тоже довольно ничтожны, бесцветны и скучны; но чудаки у него почти всегда милы, оригинальны, потому что он рисует их с особенною любовию, и нельзя не подивиться энергическому одушевлению, с каким он отстаивает их превосходство над чужеземными героями и умниками. Вот истинная любовь к отечеству! Хотя Кирша – дикарь, получеловек и полузверь, но его невольно любишь и предпо-

читаешь всякому паладину Западной Европы; хотя Зарядьев{51} – человек ограниченный, педант и пешка в военной службе, но в романе г. Загоскина он заслоняет собою самого Наполеона. Русские купцы, мещане и извозчики в «Рославлеве» нисколько не заставляют жалеть, что они носят бороды, не знают грамоте и не имеют ничего общего с Европою. Что касается до русского простонародья – г. Загоскин истинный Гомер его. Правда, его изображения иного лакея, явившегося к барину с ярмарки с разбитою харею или мечтающего в Испании о кислой капусте, соленых огурцах и сивухе, в ином, слишком опрятном читателе могут возбудить не совсем приятное чувство, но и этого причина – достоинство, а не порок, – излишняя верность природе.

В повестях гг. Булгарина и Загоскина то же сходство, как и в романах; главная разница в том, что место действия у г. Булгарина почти всегда Петербург, а у г. Загоскина почти всегда провинция. Это происходит оттого, что г. Булгарин совершенно не знает ни Москвы, ни провинции русской (исключая остзейских губерний){52}, а г. Загоскин, по любви своей к

Москве, может назваться ее рыцарем, и от всего сердца, от всей души знает и любит провинцию, особенно низовый край, заключающий в себе самые хлебородные губернии. Все это хорошо: пусть всякий сочинитель описывает известную ему сферу жизни и не берется за незнакомые, то есть г. Булгарин – за Москву и коренные русские губернии, а г. Загоскин – за Петербург, Белоруссию и Лифляндию.

Рассматривая повести гг. Булгарина и Загоскина, помещенные во втором томе «Ста русских литераторов», мы, по долгу критической добросовестности, должны отдать преимущество повести г. Булгарина. Повесть г. Загоскина называется «Официальный обед», а г. Булгарина – «Победа от обеда»: видите ли, и в названии повестей есть сходство: обе основаны на обеде!

В городе Бобкове ждут ревизора, Максима Петровича Зорина. Городничий не слишком хлопочет о его приеме: городничий человек честный – ему нечего бояться. Он, изволите видеть, был *бессеребреник* и, занимая место градоначальника богатого и торгового города, «покупал на чистые деньги все – все без ис-

ключения, даже чай и сахар, даже пенное вино, которое пил перед обедом вместо сладкой водки». Главным доказательством «бессребрености» *Костоломова* (фамилия городничего) автор полагает его храбрость в сражении: он с боя взял георгиевский крест, вскакав первый на неприятельскую батарею. «Воля ваша (восклицает почтенный сочинитель), взяточник на пушку не полезет!» Мысль моральная, но согласиться с нею никак невозможно. Действительность любит противоречить самой себе: в ней иногда бессеребреник бывает плохим воином, а иногда и просто трусом, а отъявленный взяточник и грабитель – образцом храбрости. *Бессребреность* городничего очень оподозривается одним обстоятельством: автор не говорит, чтобы у него была деревня или капитал в банке, а между тем заставляет его жить, как будто бы он получал губернаторское жалованье. Но это не важное обстоятельство: автору нужен был городничий-бессребреник, и, по праву автора, он приказал ему быть таким – вот и все. Главное же заключается в том, что жена городничего вертела им как хотела, пользуясь слабостию своих

нерв и частыми обмороками. Дочь их любит прелестного, но бедного молодого человека Холмина, а ей хочется выдать ее за Кочку – богатого скрягу и негодяя. Между тем приезжает ревизор и останавливается не у князя Чухолова, своего родственника, а у Холмина; чиновничество хочет дать обед ревизору – городничихе хочется, чтобы это было в ее доме, но Кочка перебивает у нее эту честь. Однако Кочке дорого обошлась его «интрига»: он лишился невесты, а обед все-таки был у городничихи. Ревизор берется быть сватом у Холмина; влюбленная чета соединяется, и повести конец. Вот содержание нового произведения г. Загоскина. Оно немножко избито и решительно не во нравах нашего общества: мы хотим сказать, что все это может быть в повести, во ничего этого, и притом *таким образом*, не бывает в действительности. Правда, мы опустили множество подробностей, – но нам нельзя же было всего пересказывать. Если читатели прочтут до конца повесть г. Загоскина, – мы уверены, они сами увидят, что она есть не что иное, как сто первое повторение всех комедий, повестей и романов г. За-

госкина, что в ней все старо, все уже известно публике – и лица, и характеры, и провинциальные оригинальности, и злодеи, и резонеры, и чудаки. С первой страницы тотчас же видишь, в чем дело, что будет дальше и чем все кончится. А согласитесь, что главный интерес повести в том и состоит, что, читая ее, вы видите, что все в ней естественно, правдоподобно, а между тем вы никак не можете угадать, что будет вперед и чем все кончится. Впрочем, к повести г. Загоскина приложена хорошенькая картинка г. Тимма. Оно – видите ли – не то, чтобы в ней все было хорошо: напротив, в ней нехорош городничий, потому что похож не на пожилого служаку, а на молодого водевильного любовника; супруга же его похожа не на разбитную и пожилую бабу-бой, а на хорошенькую и молоденькую девочку; зато предводитель дворянства, толстый, глупый обжора, сладострастно пожирающий глазами и ртом поданного ему на завтрак фаршированного поросенка, – очень недурен; а стоящий подле его стола частный пристав – в мундире, – руки по швам, с официальною физиономиею, с благоговением,

как на таинство, взирающий на обжорство высокой персоны, – просто превосходен. Уверяем, читатели, что нельзя выдумать более официальной рожи, как физиономия этой полицейской фигуры{53}.

Повесть г. Булгарина – повесть историческая из «времен очаковских и покоренья Крыма»{54}. Она изображает бюрократию того времени, которая, впрочем, очень мало изменилась в своем духе с того времени. Бедные, но честные и талантливые чиновники живут дружно между собою. Не имея никакой надежды выйти в люди не протекцией) и не подлостию, а заслугою, один из них делается с горя пьяницею – всегдашняя история многих чиновников; другой остается тверд в добродетели – и неудивительно: он из немцев, по крайней мере мать его была швейцарка, – и ей обязан он был человеческим воспитанием и человеческим образом мыслей. Искрин (фамилия этого чиновника) любит дочь Карла Федоровича Циттербейна, экзекутора канцелярии князя Камышенского. Сей Циттербейн – злодей: скряга, низкопоклонник, канцелярская гадина. Чины и деньги – его бог, а

честь обедать за столом «светлейшего» – идеал высочайшего блаженства. Он достает за огромные проценты деньги своему начальнику (то есть дает свои) – и потому для него – необходимый человек и пользуется его милостию и покровительством. Разумеется, экзекутору и в голову не входит мысль, чтоб бедный чиновник осмелился иметь виды на его дочь, – и потому он позволяет ему видеться с нею; но когда узнаёт о тайне любовников, то приходит в ярость и прогоняет Искрина. Искрин решается, во что бы то ни стало, добиться чести обедать у «светлейшего». Он кропает плохие стишонки – торжественную оду «светлейшему», которая начиналась так:

Восстани, муза! Петь достоит
Вождя возлюбленна тебе,
Кой тысячам блаженство строит,
Жив поздно роду, не себе{55}.

Искрин отправляется к Попову, который определил его на службу, и просит его превосходительство «быть ему отцом, благодетелем, заступником» – представить оду «светлейшему». Ода представлена – и поэт награжден

стами рублями... Но Искрин отказывается, прося в награду чести быть приглашенным к обеду его светлости. К счастию, во время разговора Искрина с Поповым подошла к ним графиня Уральская, приятельница Потемкина; ей понравилась наружность молодого человека – и на другой день он получил вожделенное приглашение. Достав, при помощи приятеля, денег от одного ростовщика, который не мог отказать человеку, приглашенному к обеду «светлейшего», – Искрин покупает себе приличное платье. За обедом «светлейший» ничего не ел и изъявил желание отведать севрюжины. Искрин вызвался сейчас же достать ее, – побежал в трактир и принес[5].

«Светлейшему» понравилась его смелость и проворство – он спросил о нем – ему сказали, что это тот поэт, что поднес оду. После обеда явился к Потемкину с пакетом от князя Камышенского Циттербейн, – Потемкин велел ему распечатать пакет и прочесть; но тот, увидев Искрина в числе гостей, до того сробел, что уронил и разбил свои очки; «светлейший» велел читать Искрину. Окончание повести нетрудно понять: Искрин женился на

своей возлюбленной, сделался знатным барином, владельцем капитала больше чем в миллион, вывел в люди всех своих приятелей, из которых Глазов, как водится в моральных повестях, исправился и из пьяницы сделался трезвым человеком. Повестца, как можете видеть сами из этого изложения, очень незавидная, впрочем не в ущерб книге «Ста русских литераторов», в отношении к которой она – по Сеньке шапка, как говорит пословица. Содержание этой повести избито и старо, как мудрая истина, что добродетель награждается, а порок наказывается; пружины ее не стальные, а мочальные – и те истертые и истрепанные. В самом деле, что это такое: любовник, молодой идеальный человек, без роду и племени, без денег в кармане, но с возможными добродетелями в душе; любовница, идеальная девица, прекрасная и добродетельная, но дочь отца столь скаредного, что ему предоставлена скучная роль разлучника; счастливый случай, всегда готовый к услугам плохой повести, делает вожделенную развязку, и к концу – герои совокупляются законным браком, злодеи исправляются, пьяницы

просыпаются и – все счастливы? Повторяем: что это такое, как не повесть в роде г. Загоскина?.. Но тем не менее повесть г. Булгарина все-таки неизмеримо выше повести г. Загоскина. Всякое сочинение должно быть результатом какой-нибудь причины, так же точно, как всякое намерение должно иметь какую-нибудь цель. Разумеется, причина или цель сочинения может быть и внешняя и внутренняя; первой критика не должна брать в расчет, – и ей решительно нет никакого дела, что автору нужны были деньги, или хотелось попасть в знаменитое число «ста литераторов» и полюбоваться своим портретом: она берет;в уважение только внутренние причины или цели, которые могут состоять только в мысли. Пусть мысль будет выполнена неудачно, но все-таки приятнее прочесть даже и посредственное произведение, написанное с мыслию, чем такое же посредственное произведение, написанное без всякой мысли, но так – чтобы только Под чем-нибудь подписать свое сочинительское имя. У г. Булгарина явно была предметом мысль – изобразить быт времен Екатерины Великой, – и это,

несмотря на топорную отделку его повести, придало ей интерес. Побасенками забавляют только детей; людей мыслящих можно занимать только мыслию, – иначе они могут оскорбиться претензиею сочинителя на их внимание. Г-н Булгарин не может опасаться подобного оскорбления со стороны своих читателей: его повесть может их не удовлетворить, по цель ее всегда будет достойною их внимания. Правда, тут много мыслей или рассуждений, как, например, о дворянстве, будто бы невольно облагораживающем человека, о Вольтере и энциклопедистах, как врагах человеческого рода, и тому подобные, которые уж слишком «сочинительские» и напоминающие лучшие и самые блестящие страницы в этом роде в сочинениях Р. М. Зотова. Но тут есть мысли и взгляды поистине дельные, для доказательства чего довольно выписать следующее место:

> *Звезды носили тогда не только на кафтанах и на сюртуках, но и на плащах, на шубах, а весьма многие носили даже на халатах. Это вовсе не почиталось странностию; напротив, счита-*

ли неприличием и дерзостью не носить орденов. В наше время высшие государственные сановники принимают подчиненных и просителей не иначе, как уже по окончании своего туалета, редко заставляют себя дожидаться и даже отказывают в просьбе и делают выговоры вежливее, чем в старину миловали и хвалили. В блаженное екатерининское время вельможа, или вообще начальник, принимал просителей или подчиненных в халате, в туфлях, иногда сидя перед зеркалом, бреясь или пудрясь, или лежа на софе, говорил ты *каждому, кто ниже чином и не принадлежит к знатной родне, и позволял себе всевозможные вольности в речах. Не весьма* женировались *даже перед дамами-просительницами, хотя бы они принадлежали к дворянскому сословию, основываясь на том, что порядочная женщина должна непременно найти покровителя, который хлопотал бы за нее. Вежливость, утонченность нравов, любезность, остроумие имели убежище только при дворе и в гостиных древних родовых русских бояр, так называемых столповых дво-*

рян, превращенных европейскою образованностью в вельмож, по образу и по подобию придворных Лудовика XV. Но в приемных, в канцеляриях и в домашнем быту еще крепко припахивало дичью и татарщиною. Даже Державин гордился еще предком своим, татарским мурзою, и искал бессмертных красок для портрета Фелицы в степях киргизских! В то время между русскими еще можно было найти подлинники мурз и баскаков!.. Теперь это перешло в предание!..{56}

Все это очень умно и очень верно; но нам кажется, что автор простирает свое нерасположение к екатерининскому времени далее, нежели сколько позволяет истина и беспристрастие. Несмотря на все худое, которое можно, не кривя истиною, сказать об этом веке, – он все-таки был – великий век. Достоинство исторической эпохи состоит не в том, чтоб быть безусловно разум– ною, но в том, чтоб быть разумною в отношении к самой себе, сообразно с законами исторической возможности. Всякая эпоха велика, лишь бы она была эпохою движения и развития. Если бояре того

времени принимали просителей в халате, а Потемкин и бояр принимал иногда даже без халата, – то ни просители, ни бояре этим не думали оскорбляться: первые целовали ручки своих «милостивцев», а вторые низко кланялись перед «светлейшим» и гордились его улыбкою или брошенным словом, как звездою на своем халате. Тогда не было не только народа, не только среднего сословия, но даже и среднего дворянства; но было только вельможество и толпа безответная и бессловесная; сама бюрократия – солнце толпы, была сальною свечою перед вельможеством. Веку Александра Благословенного суждено было создать в России нечто среднее между высшими ступенями государственной лествицы и ее основанием. Но без века Екатерины Великой был бы невозможен век Александра Благословенного. Петр разбудил Россию от апатического сна, но вдохнула в нее жизнь Екатерина. Пламенником гения была озарена царственная глава этой великой жены – и этою главою жила Русь. Жизнь государства заключается в живой, движущейся идее, которая непосредственно окриляет деятельность всех

его членов: блеск царствования Екатерины, гром побед, пиры и роскошь, начало просвещения, искусств, цивилизации, великие приобретения, множество мужей, могучих волею, великих умом и талантом, – все это было созданием живой, зиждительной мысли, озарявшей царственную главу великой жены…

Картинка к повести г. Булгарина, соч. г. Тимма, довольно недурна; она представляет кабинет вельможи, в котором украшения и игрушки на камине взяты с одной Гогартовской картины, которую можно найти и в «Живописном обозрении».

За повестью г. Булгарина следует повесть г. Масальского «Осада Углича». Мы не будем ничего говорить о литературном поприще г. Масальского, потому что ровно ничего о нем не знаем, а наводить справок не имеем ни времени, ни охоты…{57} Что касается до «Осады Углича» – это, во-первых, повесть без всякого содержания, всякой правдоподобности, всякого интереса; во-вторых, крайне бесталанно рассказанная и потому вялая, длинная и скучная. Сочинитель уверяет, что будто бы он заимствовал содержание своей повести из

какой-то старинной рукописи «О разорении града Углича, нарицающегося древле город Угло», будто бы доставленной ему одним старожилом угличским; но мы крепко сомневаемся в существовании этой рукописи, если только фантазия г. Масальского в самом деле из нее заимствовалась. В повести русского духа слыхом не слыхать, видом не видать; изображенные в ней нравы похожи на пародию на нынешние нравы, изображаемые плохими романистами. Послушайте, например, каким *романическим* языком плохих романов изволит объясняться стрелецкий голова 1610 года:

> *…Я жил в Москве. Там сердце указало мне спутницу жизни. Питая друг к другу любовь чистую, пламенную, мы наконец превозмогли все препятствия, которые долго мешали нашему счастию, и я назвал ее моею. Все говорили, что на земле невозможно найти полного счастия. Нет, это несправедливо, отец Авраамий! Я, я наслаждался этим счастием!.. Правда, оно скоро улетело и – навсегда! Она покинула меня, милая, незабвенная Ольга! Скоро ушла она на небо с этой бедной земли!*

О, как дорого заплатил я за свое счастие!.. Легче было бы мне, если б оторвали половину моего сердца; но я не роптал, я даже не плакал – я не мог плакать. Меня утешала мысль, что я страдаю один, что моя Ольга на небе, где счастие вечно, неизменно, где ее уже не может постигнуть утрата, подобная моей. На языке человеческом нет выражений, чтоб изобразить то, что я чувствовал, когда вокруг гроба ее раздавалось похоронное пение, когда мои запекшиеся уста прильнули к ее холодной щеке, где недавно играл так пленительно румянец жизни; к ее руке неподвижной, которою она, угасая и вперя в меня исполненный любви прощальный взор, в последний раз пожала мою руку!..

Оченно хорошо! Кто бы мог подумать, чтобы грубые, брадатые, полудикие стрельцы XVII века были так чувствительны на манер Эраста Чертополохова{58} и были такими приторными риторами!..

Картинка к этой повести очень плоха{59}.

За повестью г. Масальского следуют стихи г. Масальского «Дерево смерти». О них можем

мы сказать, что в них гений нового, доселе не известного нам литератора и поэта г. Масальского верен самому себе: в них та же реторика, только с рифмами.

Утомленный и усыпленный повестью и стихами г. Масальского, читатель с жадностию развертывает в «Ста русских литераторах» повесть г. Вельтмана «Урсул»; но... кто бы мог этого ожидать?.. его утомление все возрастает и возрастает, силы слабеют, терпение истощается... вот уж и последняя страница... вот и конец... но что же это такое?.. в чем дело?.. Гульпешти, Мынчешти, Градешти, Малаешти, Албинешти, Горешти, Гальбинешти, домну Ферешти, домну Иоанне... ничего не понимаем... Люди разговаривают, ходят, спят, едят, бегут, скачут, дерутся, но кто с кем, из чего, как, когда, почему? – сам Эдип не разрешил бы этой сфинксовой загадки, которую г. Вельтману угодно было назвать повестью. Просто-напросто, без обиняков: мы ничего не поняли в «Урсуле» и скорее смогли бы сочинить свою (хоть плохую, но понятную) повесть, чем пересказать содержание повести г. Вельтмана. Что это такое?.. Неужели падение

таланта – последний, предсмертный и потому невнятный лепет его?.. Правда, в «Урсуле» г. Вельтмана есть страницы понятные, есть места живые, увлекательные, но без всякого отношения к целому. И притом, к чему это испещрение рассказа молдаванскими словами: *кафэ, ши люле, чи гында, ватава, одубешти, домнешти, логофет ди вистиария, гата*? К чему этот натянутый à la Marlinsky, напыщенно реторический язык: «Ух, какая гроза во мне бушевала! *Громы перекатывались в черепе* (?), кровь ходила волнами по жилам, била в сердце – а сердце как скала!.. Хлынули бы слезы, легче б было, но только молния жгла внутренность; в очах переливалось кровавое зарево; под ногами все рушилось; вихрь крутил меня, я хватался за воздух...»

Изысканность, вычурность, напыщенность, туманность, бессвязность, пестрота, и к довершению всего – хоть разломай себе голову, а ничего не поймешь в этой повести... Прочтите «Кирджали» Пушкина: содержание сходно с повестью г. Вельтмана; но какая простота, безыскусственность, какая непринужденная сжатость и энергия, какая поэзия и

как все понятно и уму и сердцу!..

Да не подумают читатели, чтобы нашим суждением о повести г. Вельтмана управляло пристрастие к ее автору: нет, мы признаем в г. Вельтмане не только поэтический талант, но даже большой поэтический талант. В его «Кощее бессмертном», «Святославиче»{60} и других романах и повестях часто проблескивают искры высокой поэзии, встречаются картины и очерки, набросанные художническою рукою; но нигде нет целого, полного, оконченного, – там рука, тут нога, иногда целая голова удивительной работы, волшебного резца, но никогда полной статуи, запечатленной единством мысли, гармониею целого. И вот причина, почему г. Вельтман, поэт с большим дарованием, не пользуется на Руси тем авторитетом, которого заслуживал бы его талант, и заслоняется, в глазах публики, разными народными н нравоописательными писаками. К этому надо присовокупить еще какую-то странность в направлении, какие-то капризы фантазии, непонятную наклонность к филологии в области поэзии. И удивительно ли, что литературное поприще, так блиста-

тельно начатое «Кощеем», заключается теперь «Каломеросом»{61} и «Урсулом»? Г-ну Вельтману уж не раз, и притом не без основания, замечали наши критики, что мало для поэта быть богатым сокровищами поэзии, но надо еще и уметь ими распоряжаться: иначе богатство съедет на нищету... Оно так и делается...

Картинка к повести г. Вельтмана очень плоха{62}.

Переворачиваем страницу и видим... о удивление!.. повесть г. Надеждина – «Сила воли»... Итак, и г. Надеждин стал повествователем... Странно!.. А все виноват г. Смирдин: он своими «Стами литераторами» всех литераторов наших превратил в рассказчиков. Может быть, это выгодно для его книги, но не для литераторов. Вот хоть бы г. Надеждин: он литератор умный, ученый; он журналист, профессор эстетики, критик, фельетонист; он хороший сотрудник «Энциклопедического лексикона»;{63} но какой же он поэт, какой же повествователь, г. Смирдин?..

Г-н Надеждин начал свое литературное поприще в «Вестнике Европы», и начал его

борьбою против романтизма. В первых статьях своих он явился псевдонимом Надоумкою;{64} но когда (были напечатаны отрывки из его диссертации на доктора, – все узнали, что Надоумко и г. Надеждин – одно лицо. Статьи Надоумки отличались особенною журнального формою, оригинальностию, но еще чаще странностию языка, бойкостию и резкостью суждений. Как в них, так и в диссертации{65}, можно было заметить, что противник романтизма понимал романтизм лучше его защитников и был не совсем искренним поборником классицизма так же, как и не совсем искренним врагом романтизма. Г-н Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни *классическою* (ибо мы не греки и не римляне){66}, ни *романтическою* (ибо мы не паладины средних веков), но что в поэзии нашего времени должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию. Мысль справедливая и глубокая, – г. Надеждин даже хорошо и развил ее. Но тем не менее она немногих убедила и не вошла в общее сознание. Много причин было этому, но главные из них: ка-

кая-то неискренность и непрямота в доказательствах, свойственная *докторанту*, а не *доктору*, и явное противоречие между воззрениями г. Надеждина и их приложением. Г-н Надеждин, понимая, что классическое искусство было только у греков и римлян, называя французскую поэзию псевдоклассическою, неестественною и надутою, в то же время с благоговением произносил имена Корнеля, Расина и Мольера и смело цитировал реторические стихи Ломоносова, Петрова, Державина и Мерзлякова, уверяя, что в них-то и заключается всяческая поэзия. Далее, очень хорошо понимая, что Шекспир, Байрон, Гете, Шиллер, Пушкин совсем не романтики, но представители новейшей поэзии, он с ожесточением глумился над ними, как над неистовыми романтиками, и смешивал их с героями юной французской литературы. Это противоречие едва ли не было умышленно, во уважение неверных отношений *докторанта*, желающего быть *доктором* и потому, по мере возможности, не желающего противоречить закоренелым предубеждениям *докторов*. По этой *уважительной* причине г. Надеж-

дин вооружился против Пушкина всеми аргументами своей учености, всем остроумием своих *надоумочных*, или – правильнее – *недоумочных* статей{67}. Время и место не позволяют нам распространиться о его подвигах в ратовании против Пушкина, ибо это длинная и притом забавная и занимательная история, которую мы предоставляем себе рассказать в другое время, как скоро представится удобный случай. Теперь же скажем только то, что, сделавшись доктором и получив кафедру, г. Надеждин сделался журналистом – и совершенно изменил свои литературные взгляды и даже орфографию: вместо *эсфетический* и *энфузиазм* стал писать *эстетический* и *энтузиазм*; разбирая «Бориса Годунова», заговорил о Пушкине уже другим тоном, хотя и осторожно, чтоб уж не слишком резко противоречить своим *недоумочным* и *эсфетическим* статьям{68}. Во всяком случае, г. Надеждин – примечательное лицо в нашей литературе и заслуживает подробной и основательной оценки, которую мы и предоставляем себе сделать при удобном случае.

Но тем не менее повесть совсем не дело г.

Надеждина, точно так же, как, например, драма совсем не дело г. Погодина. «Сила воли» рассказана умно, но холодно и бесцветно, тогда как по ее содержанию, почерпнутому из кипучей жизни католической Италии, – фантазии и чувству было бы где разгуляться.

Картинка, приложенная к повести г. Надеждина, плоха, а портрет его не отличается большим сходством{69}.

Теперь следует повесть г. Каменского «Иаков Моле». Она особенно замечательна– цветистым и театральным рассказом и картинкою, которая к ней приложена: не знаешь, чему дивиться – тому ли, что повесть удивительно выражает картинку, или тому, что картинка удивительно выражает повесть; {70} и не знаешь, чему отдать преимущество – повести или картинке. Мы думаем, что то и другое превосходно. О литературном поприще г. Каменского довольно сказать, что он, г. Каменский, – автор несравненного сатирического романа «Энский искатель сильных ощущений»{71} и несравненной драмы «Розы и маска».

Г-н Панаев (В. И.), известный наш идиллик,

написал для альманаха г. Смирдина не повесть, а рассказ об истинном происшествии, который и назван им просто «Происшествие 1812 года». Рассказ отличается занимательностию содержания, правильным, гладким и приятным слогом, но картинка к рассказу очень плоха{72}.

«Любовь петербургской барышни», предсмертный рассказ г. Веревкина, или Рахманного, заключает собою второй том «Ста русских литераторов». В этом предсмертном рассказе нет никакого рассказа, потому что нет никакого содержания. Это просто дурно набросанная болтовня о том, как одна петербургская барышня сперва «влюбилась» в одного *господина офицера*, а потом, когда ей представилась выгодная партия, разлюбила его. Интереснее всего в этом рассказе литературные признаки г. не известного в русской литературе сочинителя, признания вроде «Confessions»[6] Руссо или жаненовских признаний{73}. Послушайте:

> *Около того же времени в первый раз выступил я на литературное поле. Есть на Руси таинственный человек,*

которому все невольно удивляются, хотя многие и злословят его. Не зная этого человека лично, я был влюблен в него, быть может, столько же, как в Ольгу: не я один, из нашего молодого у Поколения, питал и питаю к нему эту романическую привязанность. По моим понятиям, такая сила дарования должна была опираться в нем на душу теплую и благородную, и я не ошибся. Точно так же, как невинная *Ольга доверчиво вручила свою судьбу мне, почти незнакомому себе (*ей?*) человеку, я вручил ему свою, беспредельно, неограниченно (*вручить судьбу беспредельно, неограниченно – *как это хорошо сказано!).* Любовное письмо, *которое я написал к нему, исторглось у меня также из глубины души: он так и понял его, и с тех пор его участие, совет, руководство, содействие, помощь, дружба не оставляли меня. Радость и весьма основательная гордость моя, по поводу приобретения такого друга, служила некоторым* противувесием *горести, которую начинала причинять любовь. Дело в том, что в то самое время, как приобретал друга, я*

очевидно терял любовницу: ответ, объяснение не являлись… Благодаря содействию этого достойного друга маленькие довольно блестящие *успехи начали* загромождать *путь мой к будущей* литературной славе *(* вот как*!..), которая с тех пор и самому мне показалась возможною к достижению при дальнейших усилиях и более важных начинаниях (?).* Мое имя было произнесено в гостиных. *Литературные интриганты стали штурмовать меня письмами, стараясь привлечь новое перо мое в журналы своих бессильных партий. Эти бездарные шакалы мигом чуют поживу за семьсот семьдесят семь верст, и их мелочные происки, внушая мне отвращение, Очень польстили моему самолюбию: они заставляли меня верить в мой собственный талант, и я уже некоторым образом начинал разыгрывать роль «писателя». Предчувствия, предсказания Ольги сбывались. Эти первые* лучи славы *были, бесспорно, творение рук ее. С каким восторгом украсил бы я ими прелестную ее головку…*

Вот гений-то, так уж гений! Он не дожида-

ется суда современников и потомков, но, написав две-три посредственные повестцы для приятельского журнала, сам провозглашает себя гением и, сбираясь в дальний путь, смело сочиняет апотеоз своей небывалой славы, выдумывает себе почитателей и врагов, уверяет, что его наперебой звали к себе журналисты, крича: «К нам, Иван Александрович, пожалуйте к нам, управлять департаментом!..» {74} Впрочем, все это так нагло и бессмысленно, что надо помочь недоразумению читателей и сказать им, кто такой этот г. Веревкин, или Рахманный, то есть что такое сделал и чем прославил он себя в русской литературе. Он написал в «Библиотеке для чтения» одну или две из тех повестей, которые кажутся столь остроумными известному кругу провинциальной публики; потом он был не то корректором, не то выписчиком забавных мест из московских романов для литературной летописи «Библиотеки для чтения» – как было это как-то объявлено во всеуслышание в этом журнале. Вот и все его права на литературную славу, которой он почитал себя достигшим. Что же до таинственного человека,

которому будто бы удивляется вся Россия, – его нетрудно угадать по слогу повести г. Веревкина, которая начинается фразою: «Есть разного роду *любви*»; далее можно в ней найти слова «вражд», «мечт» и т. п.{75}.

Нельзя не поговорить о *тоне* этой повести – так изящен он. Вот несколько образчиков:

Ей-ей, не стоило родиться! Лучше уж было родиться лягушкою, потому что, нет сомнения, у холоднокровных лягушек, живущих в одном и том же болоте с петербургскими *барышнями*, любовь, по свидетельству всех физиологов, в тысячу раз и горячее, и страстнее, и постояннее. Как бы я теперь был счастлив с моею доброю, чувствительною, любящею лягушкой! Она посвятила бы мне все свое существование, жила бы только для меня, заботливо смотрела бы в мои потухающие глаза, и, когда последний луч света в них погаснет, сама, своей нежной лапкой, закрыла бы их навсегда.

...Меня неприятным образом поразило и самое искусство ее в верховой езде: эта смелость, эта решительность на коне показалась

мне в девушке противозаконным посягательством на славу киргиз-кайсаков. Я знаю, что настоящая петербургская барышня должна ездить верхом, как берейтор, и не уступать в наездничестве маленькому Турниеру.

...Безнадежность эта была, конечно, благодеянием в моем положении: я рассчитывал, что она скоро сотрет в моем сердце последние следы неуместной и бесполезной страсти, которая, как я ни прогонял ее, как ни запирал перед нею все входы в грудь, растерзанную, требующую исцеления забвением прошедшего, часто возвращалась ко мне, *мерзавка*, вместе со слезами и грустными предчувствиями.

После этого, как не поверить, что имя сочинителя этой прелестной повести огласило собою гостиные, а не гостиницы...

Картинка к повести г. Веревкина, как нарочно, самая плохая во всей книге, так же как картинка к статье Шишкова самая лучшая и была бы лучшею и не в таком издании{76}.

И вот вам весь второй том «Ста русских литераторов»! Плох был и первый, но он перед вторым, как солнце перед гнилушкою.

Лучшая статья в этом втором томе, без вся-

кого сомнения, повесть г. Булгарина: этого довольно к оценке целой книги. Вот что значит терпение и долголетняя служба —

То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты...
Ваканции как раз открыты{77} —

как говорит одно из почтеннейших лиц комедии Грибоедова. А ведь правда: еще лет пять-десять, и если наша литература пойдет все так же, как теперь, то г. Булгарин будет играть в ней первую роль и сделается ее истинным и достойным представителем. Дай-то бог!..

Примечания

Список сокращений

В тексте примечаний приняты следующие сокращения:

Анненков – П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960.

Белинский, АН СССР – В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

ГБЛ – Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

Герцен – А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954–1966.

ГИМ – Государственный исторический музей.

ГПБ – Государственная Публичная библиотека СССР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

КССБ – В. Г. Белинский. Сочинения, ч. I–XII. М., Изд-во К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859–1862 (составление и редактирование издания осуществлено Н. Х. Кетчером).

КССБ, Список I, II… – Приложенный к каж-

дой из первых десяти частей список рецензий Белинского, не вошедших в данное издание «по незначительности своей».

ЛН – «Литературное наследство». М., Изд-во АН СССР.

Панаев – И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.

ПР – позднейшая редакция III и IV статей о народной поэзии.

ПссБ – В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова (т. I–XI) и В. С. Спиридонова (т. XII–XIII), 1900–1948.

Пушкин – А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1962–1965.

ЦГИА – Центральный Государственный исторический архив.

Сто русских литераторов. Издание книгопродавца А. Смирдина. Том второй

Впервые – «Отечественные записки», 1841, т. XVIII, № 7, отд. V «Критика», с. 1–22 (ц. р. 30 июня; вып. в свет 2 июля). Без подписи. Вошло в КССБ, ч. IV, с. 400–442.

Наборная рукопись статьи (начиная от

слов «не раз приводили нас в смущение», с. 65, строка 10 св.), являющаяся автографом Белинского, хранится в ГБЛ (ф. 21, п. 3322а, № 3).

Рукопись прошла редактуру А. А. Краевского, руководствовавшегося личными и цензурными соображениями. Анализ внесенных Краевским в текст изменений показывает, что часть их идет вразрез с авторской волей. На это впервые обратил внимание С. А. Венгеров. Не располагая рукописью, а лишь на основании одних комментариев к этой статье в книге «Семь статей В. Г. Белинского», под редакцией П. А. Ефремова и В. Е. Якушкина, М., 1898, где она впервые была воспроизведена по автографу, он тем не менее счел возможным заметить: «Общее впечатление от этих редакторских изменений самое жалкое: они совершенно лишние и все заключается в том, что страстному и оттого иной раз хотя и нагроможденному, но отнюдь не в ущерб красоте и силе, стилю Белинского сообщали холодную и бездушную грамматическую правильность. Кое-где поправки Краевского являются обделыванием его литературных делишек» (ПссБ, т. VI, с. 592). Так, указывает исследова-

тель, Краевский «пока не хочет очень задевать имеющего большие связи Погодина и потому вычеркивает самое невинное замечание по его адресу» (см.: наст. т., с. 90, строки 14–11 сн.). Он также «выбрасывает иронию по отношению Каменского, зятя президента Академии художеств Толстого». Имеется в виду фраза «О литературном поприще г. Каменского...» (см.: наст. т., с. 90, строка 2 сн.), начальная часть которой, после правки Краевского, читалась так: «Г-н Каменский известен как автор сатирического романа «Искатель сильных»...» Желая польстить П. А. Вяземскому, Краевский, как отмечает Венгеров, «позволяет совсем неприличную вещь»: он включает его имя в перечень деятелей литературы, оставшихся после смерти Пушкина (см.: наст. т., с. 66, строка 10–9 сн.).

Из сличения рукописного текста с текстом «Отечественных записок» явствует, что в несохранившейся корректуре, наряду с мелкой стилистической правкой, частичным уточнением цитат, он подвергся дробным и многочисленным цензорским и редакторским исключениям. Так, например, П. П. Ка-

менский заменен М. Н. Загоскиным (см.: наст. т., с. 68, строка 12 св.). Смягчены, а иногда и совсем исключены критические отзывы о Надеждине, Полевом, Булгарине, Сенковском и т. д.

Печатается по автографу с устранением правки Краевского и исправлением явных ошибок и неточностей по журнальному тексту.

Статья «Сто русских литераторов», как и напечатанная в следующем номере журнала статья на «Римские элегии» Гете, привлекли внимание адмирала Н. С. Мордвинова. 28 августа 1841 г. он обратился к министру народного просвещения С. С. Уварову с официальным письмом. В нем он сообщил, что в «Отечественных записках» «сверх многих нелепостей, служащих к развращению вкуса, ума и нравственности возрастающего поколения, как-то, что «грех состоит в сознании греха» (из статьи «Римские элегии» Гете, с. 104, строка 14 сн.), он «нашел, к удивлению, дерзкий отзыв об Александре Семеновиче Шишкове» (см. «Сто русских литераторов», наст. т., с. 68, строки 19–15 сн.). Мордвинова особенно воз-

мутила фраза: «Он думал, что дамы не люди» (см. с. 73, строка 14 св.). Под впечатлением этих статей Мордвинов считал своим «долгом обратить... внимание на журнал, колеблющий коренное основание благоустройства: согласные с верою понятия о нравственности и уважение к личности гражданина и человека» («Русская старина», 1903, № 4, с. 171–172; М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1825–1855. СПб., 1909, с. 30–31).

Пересылая письмо Мордвинова председателю С.-Петербургского цензурного комитета, Уваров находил, что отзывы «Отечественных записок» «действительно неуместны и неприличны», и предлагал «сделать замечание цензорам, одобрившим к напечатанию приводимые в отношении Мордвинова части». Письмо Мордвинова было обсуждено на заседании цензурного комитета, а цензорам, «пропустившим в «Отечественных записках» упомянутые места», было сделано замечание (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1634, л. 1; ф. 777, оп. 27, № 34, л. 89; ф. 772, оп. 1, ч. 1, № 1455, л. 2).

Тезис «у нас нет литературы», с которым критик выступил еще в «Литературных меч-

таниях» и который был подробно развит в статье «Русская литература в 1840 году» (см.: наст. изд., т. 3, с. 191–195; см. также в статье Ал. Осповата – там же, с. 531–532), обосновывается в данной статье на материале второго тома альманаха А. Ф. Смирдина. Резкий отзыв о рецензируемом издании – оно, пишет Белинский, убеждает лишь «в существовании… русских типографий» – связан со стремлением расчистить литературную почву от псевдохудожественных наслоений.

Сноски

1

крайних пределов (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

2

Хотя *природа* и *натура* значат и одно и то же, но в употреблении иногда не могут заменять друг друга; можно сказать – *это очень натурально*, но нельзя сказать: *это очень природно*; нельзя сказать – *такова природа этого человека*, но говорится – *такова натура этого человека.*

[^^^]

3

об умерших – или хорошее, или ничего (*лат*.). – *Ред.*

[^^^]

4

Так проходит мирская слава! (*лат.*) – *Ред.*

[^^^]

5

Забавная пародия на действительный анекдот о Потемкине, которого раз угощал какой-то вельможа и который на просьбы хозяина покушать отвечал, что ему хотелось бы соленой севрюжины; когда же севрюжина была привезена из-за сорока верст и изготовлена, пока еще стол продолжался, то Потемкин не стал ее есть, говоря: «Я потому только спросил ее, что не думал, чтобы ее можно было достать».

[^^^]

6

«Исповеди» (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Первый том «Ста русских литераторов» вышел в 1839 г.; рецензию Белинского на этот том см.: наст. изд., т. 2, с. 399–406.

[^^^]

2

Критик подразумевает собственные выступления.

[^^^]

3

Критик – опять-таки – имеет в виду самого себя; четыре писателя, обладающие «истинными» талантами, – вероятнее всего, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь и М. Ю. Лермонтов.

[^^^]

4

«Остраненная» характеристика собственных взглядов соответствует ироническому контексту всего абзаца.

[^^^]

5

Десять литераторов, которые были представлены в первом томе «Ста русских литераторов», – Александров, Бестужев (Марлинский), Давыдов, Зотов, Кукольник, Полевой, Пушкин, Свиньин, Сенковский, Шаховской.

[^^^]

6

Имеется в виду помещенная в первом томе альманаха повесть О. И. Сенковского «Превращение голов в книги и книг в головы» (1839).

[^^^]

7

Критик имеет в виду Пушкина, Бестужева-Марлинского, Давыдова, Свиньина, Веревкина и Шишкова.

[^^^]

8

Рецензируя «историческое представление» М. Маркова «Александр Македонский», критик писал, что в нем «нет никакого содержания, а есть, вместо его, какая-то путаница, составленная из *пажей* Александра Македонского и *турецких барабанов* в оркестре его *македонской* фаланги...» (Белинский, АН СССР, т. IV, с. 475).

[^^^]

9

Э. И. Губеру принадлежит первый русский перевод первой части «Фауста» на русский язык (1838 г.). В целом работа Губера получила доброжелательные отзывы критиков и читателей (см., например, письмо А. И. Герцена Н. А. Захарьиной от 26 февраля – 1 марта 1838 г. Герцен, т. XXI, с. 306); Белинский же отрицательно относился к этому переводу. «Афиша» А. Ф. Воейкова – объявление об издании им «Сборника на 1838 год...», где публиковались отрывки из перевода Губера.

[^^^]

10

Е. Ф. Розен, входивший в литературное окружение Пушкина, являлся автором исторических драм «Осада Пскова» (1834), «Петр Басманов» (1835) и др., невысоко оценивавшихся критиком.

[^^^]

11

В 1835–1839 гг. А. В. Тимофеев публиковал свои произведения (в том числе и «мистерии») буквально в каждом номере «Библиотеки для чтения». О. И. Сенковский, редактор этого журнала, даже назвал его преемником Пушкина (см.: «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI, отд. VI, с. 42). О популярности Тимофеева среди невзыскательных читателей свидетельствует пьеса Белинского «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь» (1838).

[^^^]

12

Рецензию на это подражание Марлинскому см.: наст. изд., т 3, с. 448–451.

[^^^]

13

Писатель-самоучка Ф. С. Кузмичев, один из наиболее плодовитых поставщиков лубочной литературы, называл себя не «автором природы», а «сыном природы».

[^^^]

С. Н. Навроцкий, комедию которого «Новый недоросль» (точнее, ее первое действие) Белинский подверг жестокому разносу в 1840 г. (см.: Белинский, АН СССР, т. IV, с. 334–336), отвечал критику «Литературным объяснением» («Северная пчела», 1840, № 245). В нем, между прочим, говорилось, что отзыв «Отечественных записок» «делает меня кандидатом в гении». Белинский же в полемических целях истолковал высказывание Навроцкого как неумеренное самовосхваление (см. также: Белинский, АН СССР, т. V, с. 86–89).

[^^^]

15

Критик иронически обыгрывает название стихотворения Д. Ю. Струйского (псевдоним – Трилунный) «Могучил» (1840).

[^^^]

16

О Б. М. Федорове см. примеч. 9 к рецензии на первый том «Русской беседы».

[^^^]

17

Критик имеет в виду журнал «Маяк», в котором объявлялся безнравственным «Герой нашего времени» (см.: «Маяк», 1840, ч. IV, гл. 4, с. 210–219).

[^^^]

18

Иронизируя над неразборчивостью известного издателя и книгопродавца А. Ф. Смирдина, критик в то же время ценил его деятельность, объективно содействовавшую развитию русского просвещения (см. рецензию на первый том «Русской беседы». – наст. т., с. 470–472, а также примечания к ней).

[^^^]

19

Если в официальных кругах отзыв о Шишкове был встречен очень неодобрительно, то А. Д. Галахов в письме А. А. Краевскому от 10 июля 1841 г. находил его прекрасным (см.: ЛН, т. 56, с. 159).

[^^^]

20

А. С. Шишков являлся яростным поборником замены всех иностранных слов в русском языке отечественными именованиями. Он был одним из основателей «Беседы любителей русского слова», где формировалось «архаическое» (по терминологии Ю. Н. Тынянова) направление в литературе первой трети XIX в.

[^^^]

21

Историко-литературная ситуация в первые десятилетия XIX в. являлась более сложной, нежели это представлялось критику. Полемика шишковистов и карамзинистов, обозначившаяся в самом начале века, не просто сменилась полемикой классиков и романтиков в 1820-е гг. Дело заключалось в том, что как среди шишковистов («архаистов»), так и среди карамзинистов в 1810-е гг. произошел раскол, в результате которого образовались группировки архаистов-классиков (Шишков, С. А. Ширинский-Шихматов и др.), архаистов-романтиков или «младоархаистов» (П. А. Катенин, А. С. Грибоедов, В. К. Кюхельбекер), карамзинистов-классиков (М. А. Дмитриев, А. А. Писарев и др.), карамзинистов-романтиков или «младокарамзинистов» (А. А. Бестужев-Марлинский, П. А. Вяземский и др.). Таким образом, литературный процесс этой эпохи характеризовался и борьбой «младоархаистов» с «младокарамзинистами», и борьбой «младокарамзинистов» с карамзинистами-классиками (см.: Ю. Н. Тынянов. Архаисты

и Пушкин. – В его кн.: «Пушкин и его современники». М., «Наука», 1968).

[^^^]

22

В рецензии на книгу А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге...» (1803) П. И. Макаров, в частности, писал: «Хотим сочинять фразы и производить слова, как все нынешные просвещенные народы» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV)

[^^^]

23

В корректуре исправлена явная языковая погрешность, допущенная Белинским в автографе (вместо ондировать – ондироваться). Ср. франц. ondoyer (волноваться).

[^^^]

24

В корректуре вычеркнуто иноязычного происхождения слово «подмалевка», попавшее в автографе в пример русских слов («...краска, подмалевка, тени...»).

[^^^]

25

О возмущенной реакции на эту фразу Белинского см. в преамбуле к примечаниям.

[^^^]

26

Здесь и далее критик цитирует ч. II «Собрания сочинений и переводов адмирала Шишкова...» (СПб., 1818).

[^^^]

27

Цитата из трагедии «Тамира и Селим» (1750; монолог Тамиры). 2S Неточная цитата из трагедии «Хорев» (1747).

[^^^]

28

Неточная цитата из трагедии «Хорев» (1747).

[^^^]

29

На полях томов из «Собрания сочинений и переводов адмирала Шишкова...» (ч. I–XV. СПб., 1818–1832), имевшегося в библиотеке критика, сохранились многочисленные пометы, описанные Л. Р. Ланским (см.: ЛН, т. 55, с. 506–512).

[^^^]

30

См.: наст. изд., т. 3, с. 393–399.

[^^^]

31

Эти фигуры – карикатуры соответственно на Н. А. Полевого, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина.

[^^^]

32

Намек на близость Булгарина к III Отделению.

[^^^]

33

Эпитетом «нравственно-сатирические» определял свои произведения Булгарин; «поучать, забавляя» – своеобразный девиз «нравственно-сатирического» направления, восходящий к одному из положений «Науки поэзии» Горация (об этом см. примеч. 1 к статье «Педант» – наст. т., с. 595).

[^^^]

34

Архип Фадеевич – персонаж очерков Булгарина «Нравы» (1827); Выжигины – герои его романов «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831). Богатонов – герой комедий Загоскина «Господин Богатонов, или Провинциал в столице» (1817), «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» (1821); «Добрый малый» (1820) – комедия Загоскина.

[^^^]

35

«Похождения Совестдрала...» – популярный лубочный роман; об откликах критики на романы Булгарина и Загоскина см. примеч. 44, 45, 46.

[^^^]

36

Имеется в виду издание: «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ручная книга для русских всех сословий» (1837). Апраксин двор – рыночная площадь в Петербурге.

[^^^]

37

Полное название этого романа – «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831).

[^^^]

38

Критик имеет в виду рецензию О. И. Сенковского («Библиотека для чтения», 1834, т. II, отд. V), написанную в год выхода романа.

[^^^]

39

Роман «Черная женщина» вышел в 1834 г.; рецензию на него Сенковского см.: «Библиотека для чтения», 1834, т. IV, отд. V, с. 17–54.

[^^^]

40

Литературный противник Булгарина А. А. Орлов после выхода в свет «Ивана Выжигина» опубликовал целый ряд книжек, в которых издевательски обыгрывались герои Булгарина: «Родословная Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина, род его...» (1831), «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ивана Выжигина» (1831), «Смерть Ивана Выжигина» (1831) и мн. др. Булгарин пробовал протестовать, но безуспешно (см. об этом: Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., «Федерация», 1929, с. 229–232).

[^^^]

41

Имеются в виду «Записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни» (1835).

[^^^]

42

С 1841 г. Булгарин стал редактором нового журнала «Эконом. Хозяйственная общеполезная библиотека».

[^^^]

43

«Моральный журнал» – «Маяк» (см. примеч. 17); о публиковавшемся там С. Н. Навроцком см. примеч. 14.

[^^^]

44

Комедия «Недовольные» (1835) представляла собой памфлет на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова («Говорят, что О<рлов> и я выведены в новой пьесе» – П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма, т. II. М., 1914, с. 198). Рецензию на эту комедию см.: наст. изд., т. 1, с. 449–455 (подробнее см.: Т. И. Усакина. История, философия, литература (середина XIX века). Саратов, Приволжское книжное изд-во, 1968, с. 9–33).

[^^^]

Высокую оценку «Юрия Милославского» дал в «Литературной газете» (1830, № 5) Пушкин (см.: Пушкин, т. VII, с. 102–104; см. также в письме П. А. Вяземскому от конца января 1830 г.: «Конечно, в нем <романе> многого недостает, но многое и есть: живость, веселость, чего Булгарину и во сне не приснится» – там же, т. X, с. 269). Тремя статьями откликнулся на роман Загоскина Н. И. Надеждин («Атеней», 1829, ч. II, «Вестник Европы», 1829, май, № 10; июнь, № 11; первую статью из «Вестника Европы» см. также в кн.: Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 79–97).

[^^^]

46

«Все восхищались «Юрием», прощая его недостатки, – писал позднее Н. И. Греч, – досадовал и сердился на него один Булгарин, отпечатывавший последние листы своего «Димитрия Самозванца». Досада внушена ему была не авторским самолюбием, боявшимся превосходства своего соперника в литературе, а боязнию за коммерческий успех своего нового произведения» (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.-Л., «Academia», 1930, с. 704). В «Северной пчеле» (1830, № 7–9) появилась отрицательная рецензия на роман Загоскина, написанная А. Н. Очкиным. Однако, поскольку «Юрий Милославский» понравился Николаю I, соредакторы «Северной пчелы» Булгарин и Греч были посажены на гауптвахту – «будто бы, – как записал А. В. Никитенко, – за неумеренные и пристрастные литературные рецензии» (А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. I. М., Гослитиздат, 1955, с. 89; запись от 31 января 1830 г.).

[^^^]

47

Временный союз (в тактических целях) Н. А. Полевого и Ф. В. Булгарина был заключен перед выходом первого тома «Истории русского народа» в 1829 г.

[^^^]

48

Имеются в виду рецензия Н. А. Полевого («Московский телеграф», 1829, № 10), «Обозрение российской словесности за первую половину 1829 года» О. М. Сомова («Северные цветы на 1830 год»; этот критик ранее был сотрудником булгаринских изданий, а с 1827 г. вошел в литературное окружение Пушкина, став соредактором – вместе с А. А. Дельвигом – «Литературной газеты»), а также рецензия В. С. Межевича (подписывавшегося криптонимом Л. Л.).

[^^^]

49

Критик цитирует статью И. В. Киреевского, имя которого не упомянуто, очевидно, ввиду наметившегося серьезного разногласия с будущими славянофилами (см. примеч. 32 к статье «Россия до Петра Великого»).

[^^^]

50

Критик перечисляет популярные лубочные издания; «фризовая фантазия» – продукция поставщиков развлекательного чтива (*фриз* – дешевая ткань; ср. частое у критика выражение: «сочинители во фризовых шинелях»).

[^^^]

51

Кирша, Зарядьев – герои романов «Искуситель» (1838) и «Тоска по родине» (1839).

[^^^]

52

Намек на польское происхождение Булгарина.

[^^^]

53

«Отзыв о Загоскине в критике «Ста литераторов» многим не понравился», – писал А. Д. Галахов в письме А. А. Краевскому (ЛН, т. 56, с. 159).

[^^^]

54

«Горе от ума» (д. II, явл. 5; из монолога Чацкого).

[^^^]

55

Критик цитирует первую строфу оды В. П. Петрова «Его светлости князю Григорию Александровичу Потемкину. 1779».

[^^^]

56

Здесь и далее критик допускает неточности при цитировании.

[^^^]

57

Ср. в статье «Журналистика»: «Г-н Масальский написал, лет десять назад, посредственный роман «Стрельцы» (1832), который тогда же и был забыт, а после того мы не помним, что он еще писал» (наст. изд., т. 3, с. 421).

[^^^]

58

Эраст Чертополохов – герой одноименного романа П. Л. Яковлева, первоначально назывался «Несчастие от слез и вздохов».

[^^^]

59

Повесть К. П. Масальского иллюстрировал А. О. Дезарно.

[^^^]

60

Полное название упоминаемого романа – «Святославич, вражий питомец, Диво времен Красного Солнышка Владимира» (1835).

[^^^]

61

Имеется в виду роман «Генерал Каломерос» (1840).

[^^^]

62

Повесть А. Ф. Вельтмана иллюстрировал К. А. Зеленцов.

[^^^]

63

Имеется в виду «Энциклопедический лексикон», выпускавшийся А. Плюшаром в 1835–1841 гг. (т. I–XVII); издатель привлек к работе многих писателей и ученых.

[^^^]

64

Н. И. Надеждин подписывался: «экс-студент Никодим Надоумко».

[^^^]

65

Диссертация Надеждина называлась: «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830).

[^^^]

66

«Мы не греки и не римляне» – строка из богатырской сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец» (1794).

[^^^]

67

Неодобрительные высказывания о Пушкине содержала уже первая критическая статья Надеждина «Литературные опасения за будущий год» («Вестник Европы», 1828, ноябрь, № 21–22); Надеждину принадлежат также отрицательные рецензии на «Полтаву» («Вестник Европы», 1829, апрель, № 8) и на седьмую главу «Евгения Онегина» («Вестник Европы», 1830, апрель, № 7).

[^^^]

С декабря 1831 г. по 1835 г. Надеждин являлся профессором Московского университета по теории изящных искусств и археологии. Однако его положительный отзыв о «Борисе Годунове» появился до вступления на профессорскую кафедру – в апреле 1831 г. («Телескоп», 1831, ч. I, № 4; см. также: Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., «Художественная литература», 1972, с. 254–270; об эволюции его отношения к Пушкину см.: Ю. В. Манн. Факультеты Надеждина. – Там же, с. 27–30).

[^^^]

69

Повесть Надеждина иллюстрировал Т. Г. Шевченко.

[^^^]

70

Повесть П. П. Каменского иллюстрировал Ф. П. Толстой.

[^^^]

71

Имеется в виду роман «Искатель сильных ощущений»; Энский – фамилия главного героя этого романа.

[^^^]

72

Рассказ Панаева иллюстрировал К. А. Зеленцов.

[^^^]

73

Критик имеет в виду «Исповедь» Ж. Жанена (т. 1–2,1830).

[^^^]

74

Перефразировка слов Хлестакова («Ревизор», д. 3, явл. VI).

[^^^]

75

Имеется в виду Барон Брамбеус (О. И. Сенковский), часто употреблявший подобные грамматические новообразования.

[^^^]

76

Повесть Веревкина иллюстрировал А. П. Брюллов, статью Шишкова – К. П. Брюллов.

[^^^]

77

Перефразированная цитата из «Горя от ума» (д. III, явл. 5; реплика Скалозуба).

[^^^]

[^^^]